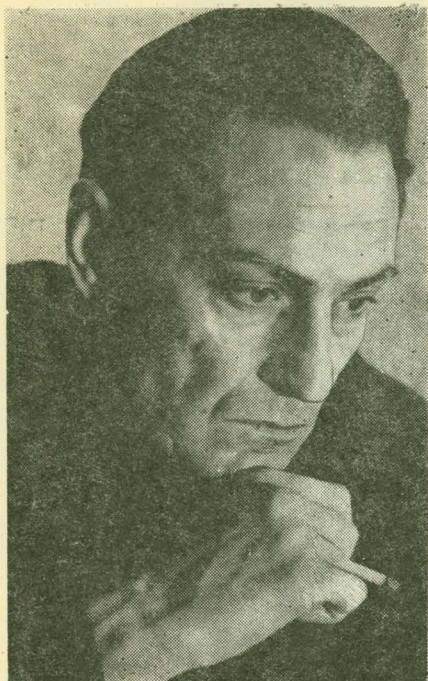


ОГНИ
КУЗЬБАССА





Евгений Буравлев—член Союза писателей СССР, автор поэтических сборников «Кладоискатели», «Родник у дороги», «Узнаю тебя, друг...», «Моя работа— моя любовь», «Острова», нескольких поэм, очерковых книг, пьес «Жемчужины Сибири», «На крыльях мечты» и других произведений.

Предлагаем читателю цикл стихов из новой книги поэта «Шестая гряда».



Какой бы мерою ни мерить,
А в должниках я все одно
Перед собой, по крайней мере,
Перед тобою, край родной.
Уже посадчики — по лаве:
Последней смены уголек, —
А я к твоей рабочей славе
Добавить ничего не смог.
Не отыскал строки заветной,
Что вровень с камешком угля
Смогла б вобрать всю силу света,
Весь жар любви к тебе, земля.

Зима подходит, дни короче,
Посеребрил виски снежок,
И паспорт выдан, вот, бессрочный
На весь отпущенный мне срок.
Не за горами час морозный —
Застынут стрелки на бегу,
А — хоть убей! — в отряд обозный
По доброй воле — не могу.
Еще надежды полон дерзкой
Слова заветные найти,
Воспеть тебя, мой край Кузнецкий,
А там уж — и прощай — прости...

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

В НОМЕРЕ:

- Евгений Буравлев. «Какой бы мерюю ни мерить...», «Можно сто раз воскликнуть...», «Не скупись никогда...», «Я — ромашка...», «Древнейшая профессия...». Стихи. 2
- Юрий Киселев. Кузьмич. Очерк. 5
- Гарий Немченко. Последний день дома. Рассказ. 13
- Дежё Дьери. Моя встреча с девушкой, собирающей яблоки. Перевод с венгерского Г. Юрова. Стихи. 26
- Иштван Полгар. О тебе. Перевод с венгерского В. Махалова. Стихи. 27
- Бела Вихар. Только воспоминания. Перевод с венгерского В. Баянова. Стихи. 27
- Петр Шмаков. Синее-синее... Двое в ночи. Рассказы. 28
- Вячеслав Кузнецов. «Ты меня не мучай, не томи...» Сибирская статья. «Мир — яростен...» «Пойду в последний раз на почту...» Стихи. 36

ГАЗЕТЕ КУЗБАСС — 50 ЛЕТ

- А. Мазюков. Газете «Кузбасс» — 50 лет. 38
- Геннадий Юров. Баллада о замстителе 38



389186

ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Я ромашка — глаза нараспашку,
гляжу —
приближается смерть
дымной росною мглой.
Далеко звон литовки,
а я вся дрожу:
взмах, еще один взмах —
и коса надо мной.
Встав на цыпочки, рядом
с тревогой глядят
васильки синеокие
на косаря,
и, предчувствуя гибель,
ударил в набат
колокольчик степной.
Только все уже зря.
Он идет, словно рок,
от плеча до плеча
голубою, как молния,
блещет косой —
и летят колокольчики
под рукой палача,

и летят васильки
со слезою-росой...
Травы!
Это для вас
мы рядами легли.
В росный утренний час
нас свели косари
С нашей черной земли,
что седа по утрам.
Косари нас свели,
чтоб наследовать вам,
чтобы новой весною
взойти семенам,
чтоб зеленой стеною
лечь под косы, как нам.
Я — ромашка,
упавший под взмахом цветок.
Но остался в земле
мой бессмертный росток.
В душном стоге спрессована
до самой весны,
буду снова и снова
видеть росные сны.

Древнейшая профессия —
Владенье топором.
О ней слагали песни —
Куда с добром!
О плотничьих дел мастере
Шумели ветряки,
Молились Богоматери
В соборах мужики.
Дивясь на эти мельницы,
На церкви, терема,
Заморские умельцы
Ходили без ума:
— Ах, до чего же здорово,
Во всем душа жива,
Наличники с подзорами —
Резные кружева!..

А он, — топор за поясом
Вострее волоска, —
Вновь шел и шел на поиски
Работы и куска.
И если все потеряно —
Сходились мастера,
И падало не дерево
Под взмахом топора...
Давно та, деревянная,
Русь поросла быльем,
А мне все, как ни странно,
До боли жаль ее,
Жаль мастера-кудесника, —
Прошла его пора, —
И жаль, что спета песенка
Кормильца-топора.

В первый день он мне не понравился. Характер у него какой-то шершавый. Улыбается, шутит и тут же будто незаметно кольнет тебя взглядом, скажет что-нибудь обидное и отвернется, сразу же становится деловым, ничего не замечающим, словно боится получить жесткий ответ.

— Я никак не разгадаю наше начальство, — обращается он к бригадиру Афанасию Федоровичу Кузеванову, — чем оно занимается? Куда людей пихает? Не говори ничего — на один пикет все Осиновое Плесо сгонит.

Это Кузьмич насчет меня. Подкрадывался, щупал, щупал и словно отмахнулся от ненужного нового члена бригады.

Чтобы доказать и бригадиру свою правоту, заворковал вкрадчиво, с паузами, в которые успеет то скобу в дерево вбить, то скобу размотать: «Ведь вы до нынешней весны всю дорогу втроем робили. У тебя, Афоня, как ни погляжу, каждый год пикет чистый. Лес пройдет по Терсям, все мучаются, а на вашем участке хоть бы бревнышко застряло. Видно, справлялись».

В моем ответе не нуждался, изредка задавал короткие вопросы.

— Верхонки есть? Сплавливал когда-нибудь?.. — И себе под нос:

— Хватало силеном управиться...

Старик был явно не в духе, и я не стал ничего объяснять. Да и поздно. Начальник Терсинского лесопункта Новокузнецкого лесспромхоза сам выбрал бригаду, куда меня послать. Утром, накануне Первомайского праздника, меня одели в старую брезентовую робу, дали багор и отвезли на реку, за шестнадцать километров от Осинового Пlesa, на четвертый пикет.

Его еще называют Кузевановским. И не только потому, что это лучший участок лесосплава на Верхней Терси от Загадного до Осинового Пlesa. О номерах пикетов просто забыли. Нумерация проходила лет двадцать назад. С тех пор кадровые рабочие лесопункта, от-

работав зиму в тайге, в гаражах, весной занимают свои места на реке. Отсюда и названия: «Кузевановский пикет», «Гавриловский», «Вилисовский». Сплавщики отлично знают русло своих «делянок». Да и трудно не знать. Четвертый пикет, например, братья Кузевановы — Афанасий и Максим — обслуживают более двадцати лет.

Фрол Кузьмич Шадринцев на пенсии. Раньше работал на пикете у Вилисова. Нынче попросился на четвертый, с которого уволился один сплавщик. Отсюда и к дому ближе и покоем его тут же, на Среднем Тустоере. Словом, новое место работы ему очень нравилось. А защищает его от «пришлых», чужаков совершенно по иным соображениям.

Пенсионер Кузьмич за короткую весеннюю сплавную кампанию неплохо зарабатывает. Каждой бригаде, обслуживающей пикет, выделяется определенная сумма. Пропустил лес на своем участке без задержек — получи сполна. Чем меньше бригада, тем больше доля каждого. Понятно, он не полез меня обнимать, увидев во мне совершенно лишнюю штатную единицу.

Однако если досрочно очистить берега от леса, можно получить солидную премию. И Кузьмич смирился:

— Ничего, четвером мы всех обскачем!..

Первые дни перед скаткой леса у сплавщиков особенно хлопотны. Из длинных узких плотов устанавливаются отражатели, перетяги, змейки — все то, что отталкивает лес от берега, удерживает поток древесины в основном русле, не дает бревнам застревать. Молевой сплав только кажется легким. Сам «своей волей», как говорит Кузьмич, он не дойдет до гавани на Томи. Надо проследить за каждым бревном, чтобы оно не залезло в затопленные тальниковые кусты, не «приписалось» где-нибудь на косе.

Тщательно готовится к проплаву древесины бригада Кузеванова. Отмели «огораживают» отражателями, русло

Ю. Киселев

КУЗЬМИЧ

делается от этого почти прямым. До скатки леса оставалось несколько дней. На нашем пикете в основном все было готово к сплаву. Оставалось перетащить один отражатель с левого на правый берег. Нужен был катер, а вода в Терси поднялась еще недостаточно, не сделала ее судоходной. Мы оказались у дела без дела.

Первого мая сплавщики как в обычный рабочий день (правда, с явной неохотой) залезли утром в кузов дежурной машины, доехали до Мутнинского моста. На лодках поплыли каждый на свой пикет. Каждый сплавщик думал об одном и том же: семья сейчас сядет за праздничный стол, отметит Первое мая.

Максим Федорович дымял толстой самокруткой, ворчал, зло сплевывая за борт. Афанасий Федорович как всегда внимательно вел лодку вверх по течению, обходя мелкие места, увертываясь от плывущих щеп и коряг. Кузьмич глядел на покрывающиеся светло-зелеными почками кусты смородины и черемухи, загибал пальцы, напоминая бригадиру, что сегодня надо бы «сробить». Как ни прикидывал — дел было мало.

На месте решили крепче привязать самый длинный отражатель. На всякий случай. Вдруг погода еще с неделю простоят такой же теплой, солнечной? Снег на горах растает быстро и разом хлынет в Терсь. Все наши «городушки» нарушит.

В кустах нашли старый трос, размотали его. Толстый, в руку, тяжелый. Нужна сноровка, чтобы его пропустить в воде под брусью отражателя и закрепить намертво петлей. Это делает Афанасий Федорович. Руки его до плеч в ледяной мутной воде. Кузьмич порывается помочь.

— Дай, Афоня, я попробую...

— У-у-у, — мотает головой бригадир.

Двоим на отражателе находиться опасно. Плот тотчас тонет, и бешеный поток отрывает ноги от скользкой опоры. Одному тоже плохо. Рука руку не достает под отражателем, чтобы поймать трос.

Кузьмич дотянулся-таки с берега багром и захватил крючком шлаг троса. Теперь работа есть всем. Тянем конец к высокому дереву. Кузьмич на ходу объясняет, с какой стороны елки заводить.

— От берега надо. Тут вот комель поперек сантиметров двадцать, значит, на воде отражатель оттянется к середине на полметра. Не мудро, а толк получается.

Минута — и все сделано. Перекур. Афанасий Федорович молчит, выжимает рукава куртки, щурится. Доволен работой или от солнца глаза прячет? Не поймешь. Хотя в общем-то иногда догадаться можно. Дело ладится — бригадир щурится и насмывается. Озабочен, недоволен — только щурится. А что сейчас? С утра какой-то непонятный.

Максим Федорович ложится на выцветший ковер прошлогодней травы, говорит мечтательно:

— В Осиновом, поди, уж гуляют всюю. Мож домой махнем?.. Все равно делать нечего.

Кузьмич не курит. И в соблазнительном разговоре участвовать боится.

— Пока вы, мужики, курите, пока щель-шепель, я покос обойду.

Мне объясняет:

— Неважнецкий, правда, покосишко. Место мокрое. Приходится рано косить, иначе сено не успевает к дождям просохнуть. Кочки опять же. Растут они, что ли зимой? Придешь — травы дивно, полянки ровные, душа радуется. А как возьмешь литовку — кочка на кочке. Откуда берутся? Растут, не иначе...

Кузьмич убрал несколько валежин, набрал охапку сучьев, принес их на берег.

— Чайку скипятить надо...

— А в поселке... — не унимался Максим Федорович.

Неожиданно снизу, из-за поворота, выскочила лодка, минуту спустя — другая. Сплавщики в спасательных зеленых поясах, надетых поверх брезентовых курток, махали нам руками, что-то кричали.

— Куда это они, Афоня, наладились? — спросил Кузьмич.

— На Петухову гору, на колбовище, — нехотя ответил бригадир.

Праздник есть праздник. И сплавщики все-таки исхитрились, нашли способ отметить его по-своему. Утром разъехались по участкам, а после обеда лодки потянулись вверх, к Петуховой горе. Здесь на солнечных склонах рано вырастает большая сочная колба. Все знали про это богатое место и, не сговариваясь, решили провести там «маевку».

Каждая бригада на всякий случай запаслась оправдательными фактами: одним не дали трактор, у других нет пилы «Дружба». Кузеванов помедлил, потом быстро облачился в непромокаемую спецовку и завел мотор.

Прошли несколько километров. Впереди показались причаленные к берегу лодки. Сзади неожиданно послышался шум сильного мотора.

Первым почувствовал неладное Кузьмич.

— Кого это беда несет?

Он присмотрелся и увидел знакомую фуфайку директора Новокузнецкого леспромпхоза.

— Ах ты язви, втрескались! Гудковский... Ну, как на грех!

Поворачивать назад на глазах у начальства нет никакого смысла: слишком далеко уехали от своего пикета. Пришвартовались к берегу. Из лодки выходить не торопились. Кузевановы начали свертывать самокрутки, а некурящий Кузьмич зашарил по дну лодки, будто искал что-то позарез нужное.

По лицу вышедшего на берег Гудковского видно, что он доволен. Как же, поймал, можно сказать, на месте преступления. И начал он свою речь миролюбиво:

— По колбу собрались? Это хорошо...

Улыбка и тихий голос явно к непогоде. И правда, директор быстро переменялся:

— А кто работать будет? Это надо же — яйца, колбаса им надоели, травки захотелось!.. А эти ударники где? — Гудковский показал на пустые лодки.

Мастер сплава Лавриков кивнул в сторону горы. Оттуда слышались голоса перекликающихся людей.

— Пасутся!..

Кузевановы молчали, оправдываться бесполезно. Афанасий Федорович и мог сказать, что на пикет не дали ни трактора, ни катера, а вручную отражатель поднять вверх по течению очень трудно. Но бригадир промолчал. Такой характер — хвалят — молчит, ругают — молчит.

Утром директор леспромпхоза снова завел разговор о массовом походе за колбой.

— Завтра начнем скатку. А вы не готовитесь. Пойдет лес с плотбища, распользется по кустам, самим же хуже будет. Нет трактора, говорите, — берите лошадку, вручную, наконец, делайте.

Нет «Дружбы»? Лучок из дома принесите.

Мужики смотрели в пол. Попались очень удачно. Если бы директор увидел сидевших сплавщиков без дела, но на рабочих местах, не такой шум подняли бы. А тут ничего не скажешь, не оправдаешься.

Больше других переживал Кузьмич.

— Угораздило нас. И ведь заделье можно было найти. Правда, и лучок куда ни шло взять, да свалить сокорину по течению правой, пусть отбивает.

Сокором здесь называют полевой тополь, с мокрой, тяжелой древесиной.

Из старой беленой конюховки, где обычно проходят раскомандировки, сплавщики разошлись тихо. Быстро селись в машину и только в пути «отошли», разговорились. Кузьмич всю дорогу до Мутнинского моста ругал себя за вчерашнее, словно он один соблазнился колбой. Сплавщики, понятно, сразу правильно сориентировались и стали подтрунивать над ним.

— Еще поедем на Петухову?

— Кузьмич, дай колбы на обед.

— Со вчерашней травки изжоги нет?

Кузьмич принимал шутки близко к сердцу.

— Я эту гору посуху на лодке буду объезжать. Чтob я еще раз на такой грех пошел...

— Кузьмич, ну дай колбы, — донимал старика Заковряжный с соседнего пикета, — нам сегодня некогда, вода, вишь, свежает. Работать надо...

Да, Терсь набухла, вода поднялась, или посвежала, как здесь говорят. Самое удобное время начинать сплав. Река не вышла из берегов, но и перекаты исчезли. Такой момент упускать нельзя. Иначе Терсь, как все горные реки, может так же быстро пойти на убыль.

Удобно неудобно, а бригаде Кузеванова нужно установить злополучный отражатель. Желающих получить катер оказалось много, пройдет не один день, пока очередь дойдет до четвертого пикета. Тогда уж некогда будет заниматься подготовкой. Кузьмич вспомнил утренний разговор в конюховке.

— А что, Афоня, в этом разе нам хочь плачь, на себе придется тащить. Технику ждать — день потерять, а лошадка по такой быстрине не пройдет.

Афанасий Федорович еще раньше заметил, что одна из двух протоков, левая, расширилась, и вода идет туда, как в

яму. Не поставь отражателя — лес понесет прямо в кривую протоку, набьет как в мешок, и никакой силой его не вытащишь.

Выход один — разобрать запасной отражатель и по частям переплавить лодкой на правый берег, а там собрать. Только вот беда. На буксире даже короткий плот лодочный мотор не поднимет снизу — скорость воды большая. Чтобы причалиться точно к нужному месту, нужно поднять части отражателя метров на пятьдесят. Как это сделать?

Тянуть по основному руслу нельзя. Вода тут же собьет с ног и унесет вместе с плотом. Бригадир решил пройти левой, сравнительно маловодной протокой, которая начинается выше правой. Но и здесь вода катится, как с горы. Ледоходом на косу намыло гряду гравия. Образовалось нечто вроде дамбы, через которую сейчас переливается поднимающаяся вода. Как подняться по этому водопаду? Все-таки решились.

Втроем взялись за веревку. Максим Федорович подталкивал плот багром. Сходу прошли метров десять и как на валун наехали. Ни туда — ни сюда. Под ногами, перестукиваясь, катится галька, вода захлестывает через голенища болотных сапог. Наши силы и сила встречного течения оказались почти равными.

Я почувствовал, что нам не справиться с рекой. Афанасий Федорович перестал подавать команды: «Еще раз!» «Еще раз!» и остановился. «Конечно, — рассуждал я, — тут без трактора не обойтись. Зачем надрываться».

Руки стали ватными. Еще мгновение, и я упаду в воду. Но Кузеванов не опустил веревку. Невероятно! Чего он медлит? Хотелось заорать: «Бросайте, ничего не получится!».

— Держите, — крикнул бригадир, — перехвачусь.

Он поднялся повыше, перекинул конец веревки через плечо и рывкнул:

— Взяли! Еще раз!

Навалились. Не силой, а злостью взяли. Плот, минуту назад прилепленный ко дну, зарылся в воду. Сначала медленно, а потом быстрее пошел вверх. Когда половина отражателя вползла на горку, Кузьмич облегченно вздохнул:

— Теперь мы его напополам даром возьмем!

Просто не верилось, что мы справились с таким делом.

Я смотрю на потные лица моих товарищей, соображаю, что их заставило делать тракторную работу.

Сплачивать лес под силу очень здоровым молодым людям. Мои пикетчики не броские. Братя похожи друг на друга. Худощавые, с обветренными лицами. Бригадиру Афанасию Федоровичу сорок, Максим Федорович на год моложе и на голову ниже своего брата. Кузьмичу шестьдесят. Состав бригады не богатырский. А вот перетасчили же отражатель, проделали работу, которая под силу только машине. Может быть, над ними довлело чувство вины за вчерашнее?

Так мне сначала и казалось: отражатель поднимали вручную, обрабатывая поездку на Петухову гору. Однако вскоре я убедился в обратном. Эти люди не боятся любого дела. И если взялись за что-то, то обязательно доведут до конца. Кроме того, сплавщиков покоряет настойчивость, находчивость бригадира. Он без указки знает, как спланировать свою работу, что нужно сделать, если по какой-либо причине об этом не сказано на раскомандировке. И не просто находит «заделье» убить время и казаться занятым, а делает именно то, что необходимо. Как-то утром Кузеванов почему-то не было на раскомандировке. В конюховке все орали, требовали горячее. Так и не добившись ничего определенного от мастера, сплавщики вышли на улицу. На дороге стояла машина, в ней, рядом с железной бочкой, — Кузеванов. Он еще вчера знал, что будет делать утром.

Кузеванов-старший отличается молчаливой безотказностью, безоговорочным согласием с тем, что намечается на раскомандировках. Не спорит, не жалуется на трудности и очень редко просит помощи. Этим пользуется мастер сплава и поручает бригаде внеплановую работу. Скажут — Кузеванов делает.

Еще перед сплавом дал задание — вытащить из кустов старый отражатель, собрать его на воде и настроить таким образом, чтобы лес не шел на «большой» бык моста и, кроме того, «не забивал» протоку нижнего пикета. Эта работа скорее бригады Гаврилова. Но Кузеванов промолчал. Только Максим Федорович заворчал:

— Нам этот отражатель не нужен. У нас самих есть работа.

Кузеванов-старший курил, щурился, и брат не понял: сердится бригадир или доволен, что именно ему поручают спастись «больной» бык и помогать пикету Гаврилова. В машине бригадир бросил брату, который продолжал сердиться:

— Замолчи.

Для Максима Федоровича старший брат — непререкаемый авторитет. Любое из немногих поручений молчаливого бригадира выполняет без оговорок. Так и сейчас. Раз тащить, так тащить. Все сделали на совесть, как для своего пикета. Ни жалоб, ни нервозности.

Наконец на всех пикетах приготовились к сплаву, и в Загадном началась скатка. Лес пошел сплошным потоком. Река затихла, замедлила свой бег, взвалив на горб тяжеленную ношу из сутунков кедра, ели, пихты. Мы сидели на берегу, смотрели на эту древесную кашу, наблюдали, как бревна вертелись в воде, тыкались с разбегу в берег, всякий раз отковыривая порядочные куски земли, обнажая розовые, белые, красные корни еще не срубленных, живых деревьев.

Работы пока не было. Лес не задерживался. Сушили портянки, пили березовый сок. Кузьмич радовался.

— Ясно идет. Так мы быстро управимся.

К вечеру поток уменьшился, и Кузьмич предложил проскочить по пикету, посмотреть, нет ли где «гостинцев».

— Может, Афоня, верхний отражатель-лишко усилим, отведем его подальше от берега. Такой напор... Неровен час.

Поднялись наверх. Увидели то, что совсем не хотели видеть. На косе образовался и продолжал расти большой затор. Терсь, как гигантский транспортер, у которого сбилась с роликов лента, несла лес прямо на отмель. Густой поток древесины прижал отражатель к берегу. По существу, отражатель не работал.

— Ну, наметало! Зарод! — охал Кузьмич.

Изменчиво счастье сплавщика. Только что мы радовались, глядя как трудится Терсь. И вот тебе на! Не хочет работать без нашей помощи. Смонтировала потихоньку фантастическую конструкцию на косе, набила в самом неудобном порядке. Но свежий затор разбирать сравнительно легко. Бывает, ковырнешь багром одно-два бревна, и

вдруг вся лавина срывается и уходит. Тут дай бог ноги. Надо мигом в лодку — иначе сомнет, раздавит.

Дело к вечеру, и бригадир раздумывал. Можно, конечно, домой ехать. Никто нас ругать не будет. Ночью, возможно, прибудет вода в реку, поднимет этот «ежик», разгладятся «иголки», и все тихо уплывет. Однако не исключено и другое: дует северный ветер, и река обмелеет.

— Пока бревна воду нюхают, давайте их отправим.

Максим Федорович, видя, что брат молчит, не согласился с Кузьмичом.

— Бестолку убирать. Эти стацим, опять нанесет.

— Так это других нанесет, может, и поменьше будет, а то и вовсе коса чистая будет. Правильно, если сесть на берег да зажмуриться, лес своей волей не уйдет.

Максим Федорович продолжал свое:

— Вода поднимется! А нет — есть товарищ бульдозер, он железный, сгребет.

— На воду да на трактор не с руки надеяться. Бульдозер может сломаться, пока будет сгребать вверх вот такие зароды. И вода сядет. Что тогда? По сухому катать будем. А сяди мы его наполам даром возьмем. Весь лес на сплавку. Тронь и уйдет.

Бригадир в разговор не вступал, курил, щурился. Молча взялся за шест и направил лодку к затору.

Косу очистили. Кузьмич доволен:

— Вот и убрали. Будто тут руки приложили.

— Еще толстомер не шел, — озабоченно поглядывая на реку, сказал бригадир.

Терсь, наверное, подслушала нас. Как по заказу она тут же принесла нам подарок. Огромный в несколько обхватов кряж кедра запнулся на перекате, развернулся и покатился прямо на косу. Он зацепился своими могучими наростами за дно, подпрыгивал и по инерции выкатился на отмель, швырнув на берег большую волну.

Кузьмич в сердцах произнес целую речь:

— Умное бревно издала видать. Оно плывет куда нужно, куда попало почему не лезет. Такое бревно никто пальцем не тронет, багром не ковырнет. Это надо же — какую медведицу на мель угораздило. Тебе что, лекцию не читали в Загадном? Ты что, кедр, не знаешь, куда плыть? На нижний пикет, к мило-

му сыну Заковряжину. Пусть знает: не колбу рвем, а работаем.

— Кузьмич, мы ее легко сплавим. Воду же «нюхает», — попытался я успокоить Шадринцева.

— Черт ее легшил.

Подожли к бревну. Толстокожий горб «медведицы» оказался на уровне плеч. У такой громадины посадка в воде 70—80 сантиметров.

Кузьмич примерился к гиганту.

— Не, медведицу, багром не взять. Давайте ее «зарядим» и, может быть, тогда напололам даром спихнем на воду.

Поймали тонкое бревно, развернули его поперек течения и причалили к торцу «медведицы». Вода ударила в эту своеобразную плотину. Кряж качнулся, а не поплыл. Полчаса, наверное, мы подвигивали бревно, «ухали», но оно держалось за дно плохо обработанными сучьями, как якорями, бороздило гальку. Все-таки мало-помалу двигалось. Уже глубоко стало, скоро вода через голенища полезет, а этот «чурбан» не «едет».

— Ну, пошла, пошла, к милому сыну...

Еще усилие!.. Дерево покатилося, оторвалось ото дна и лениво закачалось на воде. Кузьмич успел похлопать «медведицу» по шершавой коре.

— Плыви без остановки. Куда попало, почему зря не лезь. Для таких болванов надо бы указатели поставить на отражателях: сюда нужно, сюда — проход воспрещен!

Я подумал про себя: не поймут твоей мечты эти тупые, сильные сутунки. Завтра опять в нарушение всех правил насядут на наш пикет. Завтра опять нам весь день «ухать», кряхтеть, мокнуть. Только вот хватит ли сил подняться утром? Сутки пролежал бы без движения. А вставать надо. Время не ждет.

Утром я сижу на березовой чурке около Конюховки и жду Кузьмича, чтобы положить свой сухой паек в его рюкзак. Из-за угла ближнего дома показались распущенные уши шапки, а затем и ее хозяйин — Фрол Кузьмич Шадринцев. Идет неторопливо, вперевалочку. Слегка шаркает и с каждым шагом как бы приседает; перекидывая туловище то на одну ногу, то на другую. Длинный плащ на груди не застегнут, полами чуть не бороздит землю. Глядя на его усталую, сгорбленную фигу-

ру, думаю: «Как же он такой небодрый «отработит» десятичасовую смену?»

— Ты не смотри, что ему шестидесят, молодому не уступит, — тихо говорит бригадир.

Я бы добавил — загонит. Рабочий день у Кузьмича начинается раньше моего. В пять утра ведет корову за несколько километров от Осинового Пlesa. Потом копается в огороде, готовит грядки под огурцы, а в половине восьмого уже сидит в конюховке около станка дляковки лошадей и делится впечатлениями утра.

— Земля еще мерзлая. А на солнцепечных местах, Афоня, медунка вот какая вымахала!

Кузьмич раздвигает широкие литые ладони, изображая цветок.

— Корову рано выгнал. Пусть промнется. Настоялась за зиму. Где медунку ухватит, где веточку пожует. Молока прибавила. Наедаться стала. Колбой молоко пахнет, где-то колбовище нашла.

Уж коль Кузьмич завел разговор о коровах, сплавщики для виду шутиливо будут поддерживать его, задавать ветеринарные вопросы. В машине то и дело спрашивают, показывая на пасшихся коров:

— Это вот чья же?

— Серегиных, — сразу определил Кузьмич.

— А эта?

Кузьмич приставляет к глазам лопатобразную ладонь, секунду всматривается и отвечает безошибочно.

Мужики всякий раз удивляются.

— Они же все на одну морду.

— Меня убей — свою не найду в стаде.

— Как ты, Кузьмич, их угадываешь?

— Да кто его знает, — старик смущается, но рассказывает. — Вот эта ходит как марафонец, у этой — самые длинные, светлые рога в поселке, у другой вымя опять же, хвост. Все свой портрет имеют...

Сплавщики качают головами уже не смеются, удивленные познаниями Кузьмича. В самом деле, все так просто. Переводят разговор на другую тему.

— Говорят, нынче по Верхней Терси последний сплав?

— Дорогу строят, мосты, на машинах возить хотят.

— Ничего из этого не выйдет, не ус-

пеют к зиме. Двадцать три километра полотна обновить.

— Нас бросят на помощь. В прошлом году за неделю мост возводили, а сколько нас работало? Раз-два и обчелся.

— А лесовозов еще нет.

— Все будет...

— Не верится что-то,— подытоживает Вилисов.— Плавил, плавил и вот...

Дорога идет между молоденьким тальником. Как по аллее едем. В прошлом дорогу прокладывали по болоту, гатили его тальником. Теперь он дал побеги, и так сама собой получилась аллея.

— Поживем — увидим

Кузьмич вдруг сказал:

— Не забыть бы внуку кандыков да подснежников нарвать.

Это неожиданно. Никогда о семье не говорит. Оказывается, у него и его жены Ирины Марковны десять детей — семь сыновей, три дочери. На днях из Кемеровка к деду с бабкой привезли одного из девяти внуков. Кузьмич решил порадовать его таежными цветами.

На пикете он торопил нас, спешил все сделать и пойти за цветами. Разобрав очередной затор, сели покурить. Кузьмич сразу предупредил Максима Федоровича.

— Ты покороче сигарку ладь. Махорки не жалко, что ли?

Говорит это отнюдь не из экономических соображений (хотя в общем-то младший Кузеванов всегда недокуривает, а папиросу мастерит с ложку длинной). Даже половину такой головни искурить час потребуется.

Максим Федорович выпустил изо рта облако махорочного дыма, посидел с затуманенными глазами, пробурчал:

— Сиди, отдыхай.

— Не пойму я вас, мужики, как вы курите. Дыхнут — и сидят, сидят. Раз так накуришься, язви вас! Надо раз-раз — и поехали.

Братья смеются.

— Ну ладно,— поднялся Кузьмич,— пока шель-шепель, я пойду, может, на кандыки натакаюсь...

Вечером чуть сгорбленный, шаркающей усталой походкой Кузьмич шел домой. В руках махонький букетик. Подарок внуку.

...С плотбища поступило известие — штабеля скатаны. Началась зачистка «хвоста» — сплавщики подбирают с берегов все до последнего бревнышка и спускаются вниз, в гавани. Пикетчики

прикидывали: если темпы сохранятся, то нынешний сплав пройдет в рекордные сроки.

Однако наступило похолодание, выпал снег. Вода в реке упала до летнего уровня. Обмелели перекаты, и Терсь можно было перейти в сапогах.

— По такой реке лес не плавят, силодером толкают, бульдозерами,— говорили в конюховке.

— Толстомер еще не прошел, в русле лежит, ему водичка нужна,— каждый день повторяет Григорий Вилисов.

— А нам не нужна. Нас такая устраивает,— отвечал Максим Федорович.— Пикет чистый, убрали.

— Подожди, мои болванки будут у вас.

— Не беспокойся, примем.

В самом деле, скоро конец кампании, а на Кузевановском пикете не задержалось ни одного бревна. А если вода поднимется — может понести в кусты.

Время шло. Погода не устанавливалась. По рекеплыли тонкие лесинки. Когда «хвост» подошел, к пикету Вилисова древесина пошла. Кузеванов отвел отражатель дальше от берега, и лес направился строго по руслу, а где и задерживался, то мы его тут же скатывали.

Афанасий Федорович предложил подняться вверх, посмотреть, что там делается. Кузьмич раньше работал с Григорием Вилисовым, знал его ленцу. Но такое увидел впервые. Воды почти нет. Русло сплошь забито лесом. Кряжи кедров, как огромные краснотелые рыбы, «обсыхали», выброшенные на мель. Здесь скопилось, вероятно, около двух тысяч кубометров деловой древесины из 22, скатанных с плотбищ лесопункта и лесхоза.

— Э-э-э,— пропел Кузьмич, — да ты, милый сын, не толкнул за сезон ни одного бревна. Ясно, на воду надеялся, а теперь на трактор.

— Что же ему за это будет? — спросил я.

— А ничего. Посмотришь, он сам начальство ругать будет...

Увязая в зыбкой гальке, в русле ползали два бульдозера и трелевочный трактор. Они гребли все подряд, ломая кусты, молодые осинки.

Вечером, когда лодки сплавщиков собрались у моста, там где рабочих обычно ждет дежурная машина, Вилисов

ехидно спросил у Максима Федоровича:

— Нужна водичка?

— Нет.

— А нам нужна. Да и вам тоже! Наш лес в русле лежит. Кстати, шел толстомер?

— Нет, лапша, мелочь...

Сказано нарочно, чтобы подзадорить Вилисова. В действительности, со второй половины дня шли бревна в несколько обхватов. Почти каждая лесина пыталась застрять на перекате, но сильная струя воды, напиральная сверху, огромная масса леса не давали образоваться затору. Перестукивалась, ползла по дну вместе с бревнами галька. Лесины, как торпеды, втыкались в берег. Лес шел, сдвигая все на своем пути. В одном месте, где течение ослабевало, а воды было по колено, Афанасий Федорович организовал дежурство. Застревающему дереву баграми помогали плыть дальше.

Вилисов был озадачен, но бодрился:

— Ничего, завтра толкнем — весь ваш пикет толстомером завалим. Знаете, два бульдозера рядом — чисто берут!

Он скромничал, не говорил, что лес лежит в русле.

— Что можно, делали, не на охоту ходили, — вступил в разговор Иван Мосейченко. — Отражателей наставили.

Вилисов его поддержал:

— Не гоняться же по реке за каждой палкой!

На раскомандировке Вилисов, как и говорил Кузьмич, заорал.

— Что за порядки?! Вилисов, вези солярку. Доставай сальники. За пикетом некогда смотреть.

Начальник лесопункта, как ни странно, не дал ему отпора. Может быть, признавал свои ошибки? Что-то недоглядел?

Вилисов хорошо усвоил правило: лучшая форма обороны — нападение. К тому же, прямо его нельзя ни в чем обвинить. В кустах лес не лежит, забереги чистые, древесина находится в русле, следовательно, подавай трактор. Да и начальству спорить и разбираться некогда — конец сплава. Правдами и неправдами надо уложиться в график.

Довольный своей дипломатией, Вилисов сел в машину.

— Жди трактор, Михаил Федорович, готовь солярку бульдозеры заправлять.

— Не пугай. Полмесяца пугали, а где лес?

— Самые, самые остались. В русле лежат...

— Ну человек, — прошептал Кузьмич.

Ничего не скажешь, лес пошел отборный. Но с утра начала прибывать вода (ночь выдалась теплая, дождливая), и там, где вчера кражи катились, бороздили дно, сегодня беспрепятственно двигались к мосту.

Последнее бревно приплыло с пикета Вилисова после обеда. За день «хвост» зачистил. С тремя машинами. Бригада Кузеванова без применения техники прошла свой участок за два часа. Трелевочный трактор и три бульдозера проехали стороной.

От моста пикеты Михаила Гаврилова, Михаила Николаева, Ивана Праздничкова, Дмитрия Егошина пошли ходом и через два дня загнали последние хлысты в гавань. Ведь никто не задержал столько леса, как Вилисов.

Сплав закончился, и я уезжал в Новокузнецк. Последний раз видел Кузьмича на конном дворе. Он пришел в середине дня. Без своего длинного плаща, без фуфайки. В домашнем наряде — в клетчатой выцветшей рубашке навыпуск. Так зашел человек, поздороваться, поговорить. Гладко выбритое лицо отливает бронзой. Глаза хитрые: наверное, все-таки по делу пришел.

— Отработал свое, Кузьмич?

— Отработал, а как без дела? Вот огород посажу, чем займусь?

— Значит, опять наниматься пришел?

— Если что найдется.

По двору ходил начальник лесопункта, ругался с конюхами и вроде не замечал Кузьмича, его вопросительных глаз. Потом подошел:

— Будешь возить продукты в столовую?

— Какую лошадь запрягать? — заправляя рубашку, спросил Кузьмич.

— Конюх покажет.

А еще четверть часа спустя по улице гремела телега. На коричневом, засаленном ящике сидел Кузьмич. Понужал лошадежку и что-то ей выговаривал...

Гарий Немченко

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДОМА

1 Солнце висело за спиной у Дранишникова, оно грело рубаху, припекало потихоньку и плечи под ней, и затылок, жгло кожу под волосами на макушке и уши — он чувствовал сейчас оба своих уха, они были горячими и, наверное, светились розовым...

Под ногами у него лежала бурая картофельная ботва, присыпанная то желтой с прозеленью яблоневого листовой, шершавой и мягкой, то темно-серыми, свернутыми в трубку гладкими и жесткими на глаз листьями с груш. Сад стоял наполовину облетевший, и по краям его в поределых кронах, в голых, с последним листом на макушке ветках наверху держалась солнцем размытая белесая теплынь, но ближе просветы в деревьях уже сквозили чистой голубизной, здесь небо как будто набирало холода, а над головою у Дранишникова в вышине стыла пронзительная синева, и трепетным белым комочком кувыркаясь в ней и неслышно бил одинокий голубь.

Сигарета жгла Дранишникову пальцы, а он все смотрел и смотрел вверх и почему-то все не мог оторвать взгляда от голубя, и прежде чем сделать это, вздохнул и оземь бросил окурочек — эх, ты!..

Недели этой как не бывало.

Вообще-то, когда ему пришлось в голову выкроить этот коротенький отпуск, он рассчитывал не так его провести...

Тогда, в Жданове, он подумал, что не заскочить оттуда домой просто грех, и закинул на этот счет своему шефу, на-

чальнику главка Сandomирскому, и тот посмотрел на него, прищурившись, и, словно бы что припоминая, сказал:

— Если я не ошибаюсь... человек — кузнец своего счастья... — И Дранишников только улыбнулся.

За горло брать он умел, и уже на следующем рапорте монтажники взвыли в голос, и Хлудяков, старый его знакомый по Череповцу, когда они остались одни, по-свойски спросил его:

— Крест-то на тебе, Сергей Дмитрич, есть?..

А он и сам знал, что многие из тех сроков, которые они с Сandomирским назначили, были, мягко говоря, нереальными, ему ли это не знать, но в спорах с самим собой в те горячие дни он оправдывал себя вот в чем: в Сибири да на Урале, на заводе Новокузнецка да Магнитки, где жесткую школу пусковых проходил он сам, строителям и монтажникам навязывали темп еще более сумасшедший и они принимали его самоотверженно и без ропота. Дранишникову всегда нравилось молчаливое упорство, с которым работали сибиряки, он и себя считал сибиряком, и всегда этим гордился, а теперь, когда хорошо поездил, понял тем более, что ему цены нет, немерянному энтузиазму тех строек, гордому и пока бескорыстному...

Тут не так. То ли Дранишников выдумал ее, а то ли она была здесь и в самом деле — хитроватая лентца, с которой работали на юге все — от слесаря в бригаде до начальника комплекса, — но только теперь ему нравилось пошевеливать здешних, поторапливать их, занятых, как ему казалось, своими «мичуринскими» садами да «запорожцами» больше, чем прокатным станом, который вот-вот должны были сдать.

Заставив людей вертеться, он не давал спуску и себе, и каждый болт на стане потрогал своими руками, проглядел каждый узел. Бывали дни, когда спать ему приходилось по три-четыре часа, не больше, и тогда в гостиницу он не ехал, забирал у кого-нибудь из бригадиров ключ и где-либо в дальнем тепляке заваливался на пропавших железом, еще не успевших остыть от человеческого тепла брезентовых робах и, пытаясь уснуть среди грохота и лязга и прогоняя от себя оставленные ему суетным днем однообразные видения работы, монотонной, как жужжание

электросварки, старался представить: вот он, заложив руки за голову, где-то среди тихой степи лежит на кучке холмоватых кукурузных будылок и смотрит в синее пустынное небо, по которому тянет в вышине ломаный треугольник журавлей... вот он, подперев руками подбородок, спокойно сидит себе за самодельным столом в своем саду, греется на солнышке, и вокруг ясная тишина, и солнышко, как опадая, и раз, и другой четко стукнется о дерево, пока не зашуршит по земле, косо летящий лист... вот стоит на высоких холмах за станицей, смотрит на покрытые первой заморозью рыжие поля, с которых иногда с тоскливым криком срываются и пытаются полететь вслед за стаей диких гусей раздобревшие к осени на колосках да на семечках домашние их сородичи...

Удивительно, в те дни его впервые так ощутимо потянуло домой, он как будто даже вину какую почувствовал — оттого, что не приезжал в станицу уже давно да и еще вроде бы ехать не собирался...

И в какой-то мере это свидание с осенней своей станицей Дранишникову удалось.

Почти все акты монтажники сдали чуть ли не на неделю раньше, чем расчитать Сандомирский, и тот, словно подтверждая справедливость недавно припомненной им мысли и теперь уже нисколько уже не сомневаясь в ней, сказал Дранишникову:

— А ведь человек — он, и в самом деле, кузнец...

И это было Дранишникову как будто приказ по главку.

И за неделю он помотался по осенней степи и повалялся на кукурузных будылках, и то здесь, то там постоял на тех холмах да на кручах, на которые любил забираться еще мальчишкой — и все это было как будто бы так, как он замышлял — и немножко иначе. В степи они сидели компанией, выпивали и напропалую ухаживали с Чекрыгиным за двумя аспирантками, которые вели какую-то работу в его совхозе, Дранишников так и не понял, какую именно — словом, «влияние научных опытов на качество шашлыков», как говорил готовивший эти шашлыки Чекрыгин... А когда с ним вдвоем стояли они здесь, вглядываясь в знакомую до

сердечного стука осеннюю даль, неподалеку от них обязательно пофыркивал чекрыгинский «газик».

А получилось так оттого, что Юрку Чекрыгина, Юрий Саньича, встретил он еще на автобусной остановке, и они оба обрадовались этой неожиданной встрече — и дружили, и два года сидели за одной партией. И вот он хотел не торопясь походить по степи пешочком да посидеть, прижукнув, под неслышным осенним солнышком, а вместо этого с Чекрыгиным, главным инженером племенного совхоза, обмотал весь район, где только ни побывал — и на дрожащих от реактивного гула токах, где кукурузу теперь сушили при помощи отработавших свой недолгий век в небе авиационных двигателей, и на пастбищах в горах, где уже лежал снег, и на зональном соревновании стригалей, которое, как ему сказали, вот уже несколько лет подряд проводилось в одном из колхозов района, знаменитом теперь на всю страну... И Дранишников был благодарен другу своему Чекрыгину Юрке за эти странные суматошные поездки, в которых иной раз трудно было разобраться, где кончается дело и начинается на скорую руку собранный, но тем не менее торжественный, как древний обряд, обед с молодым барашком да коньяком, благодарен был потому, что неспешную станичную жизнь, над которой он обычно посмеивался, увидел он теперь как бы заново — он увидел и спорую, такую, какую любил сам, работу, и щедрые ее в этот год на Кубани плоды, и тронутые осенними красками дорогие ему холмы и долины, видеть которые, теперь он понял это, безотчетно хотелось ему уже очень и очень давно.

Правда, Дранишников замечал, что каждая из этих поездок словно бы отдаляла его от матери... Провожая его до калитки, за которой ожидал чекрыгинский «газик», она всегда помалкивала, но однажды, когда машина уже тронулась, он выглянул в заднее окошко и увидел, как мать, клоня голову, понесла к глазам край платка.

Время для этих поездок было как бы украдено у нее, это ясно, и Дранишников, сознавая это, но не смея отказать себе в удовольствии поездить с Юркой да все посмотреть, и переживал слегка, и, когда они оставались с матерью вдвоем, чувствовал себя неловко, и рад

был если приходил кто-нибудь из родственников или соседи.

Потому-то вчера он и сказал Чек-ригину:

— Ну, все, ша — завтра ты рубай своих барашков один... Надо же мне хоть последний день побыть дома.

День этот выдался, как по заказу, ясный и теплый, и Дранишников то стоял, покуривая, у летней кухоньки, пока мать собирала завтрак, то после него долго сидел потом за столом, тоже покуривая, а мать мыла посуду и неторопливо рассказывала ему об одиноком своем житие. Потом, зажав сигарету в уголке рта и морщась от дыма, он помогал ей очищать кукурузные початки, и ему приятно было замечать, как шуршит и поскрипывает, когда обдираешь, как похрустывает потом, отламываясь еще не совсем подсохшее кукурузенье, и приятно было, как будто взвешивая, держать на ладони холодноватые и чуть влажные кочаны с белыми гладкими зубками — это были ощущения, знакомые ему с детства, и сейчас они забавляли Дранишникова и, казалось, возвращали его на много лет назад, и он, поддаваясь этой иллюзии возвращения, старался что-то припомнить, и никак не мог, и думал снова, как будто бы это было очень важно для него, а потом вдруг, перебив мать, сказал обрадованно, приподнимая кочан:

— Так это же ледянка, ма?..

И мать как будто удивилась:

— Ну, а то что?..

— Да у меня вот вертелось, вертелось...

— Ледянка, конечно, а то что...

И она снова стала рассказывать, как болела зимой и думала, что уже все, хотела телеграмму давать и ему, Сергею, и младшему Феде, да боялась напугать их, потому и раздумала, и вот ничего, отошла, наверно, помогли пилюльки...

Она замолчала, и Дранишников сказал:

— Ма, забыл тебя попросить... Вот бы ты кукурузных оладиков хоть раз испекла, а? Сто лет не ел, а как вспомнишь... Только масла побольше.

Мать удивилась:

— Да, а из чего ж я их тебе испеку?

И он ответил ей в тон:

— Как из чего?.. Из муки. Из кукурузной.

— А где она?

Он плечами пожал:

— Не знаю На базаре... или где?

— А кто б ее на базаре продавал?

— Ну, на мельнице...

— А кто б ее там молот — белый хлеб в магазине лежит, черствеет...

— Ну, раньше как-то пекли... в войну.

— Дак то на своей рушке.. Я ж тебя всегда драть-то и заставляла.

И он вспомнил, как по вечерам на две табуретки ладил широкую плаху с четырехгранным стояком, поблескивающим обточенной сталью, надевал на него цилиндрический ворот, ставил возле табуреток, под отверстия для крупы большой таз, садился на плаху верхом... Молоть на муку — посильней прижимаешь вороток, давишь книзу, а стоит приподнять его за ручку чуток, и пошла дранка покрупней — а ведь в самом деле, подумал он, это же целая индустрия была, военные да послевоенные крупорушки, вот оно, а теперь и муки этой, выходит, достать негде, никому не нужна, нету...

— Да кабы жил еще в таком месте, чтоб кругом никто не болел, дак, может, и сам бы еще держался, — снова, не торопясь, заговорила мать. — А то посмотри вот так — ну, собралось на краю одно старушье, в каждом дворе — то ж да про то ж, то ж да про то ж...

— Ма, — спросил Дранишников, — а где наша рушка?..

И мать, не меняя тона, покорно откликнулась:

— Да где?.. Федя ж на металлом сдал. В шестом или это уже в седьмом классе соревновались же там с кем-то, да у тех больше, у этих не хватало — гляжу, нету!.. Когда узнала, пошла к Митрофаньчу, он же там заправлял: отдай, говорю, Митрофаньч! Да мне, говорит, жалко что ли?.. Ищи! Дак я, веришь, весь склад ему перерыла, вязы неделю потом болели — нету!..

Он затылок поскреб:

— Жаль...

— Неужели, и правда, ел бы?

Он отчетливо припомнил и вкус поджаристой корочки да распаренного на подсолнечном масле чуть сыроватого еще теста, и горячий и слегка приторный запах кукурузных оладьев...

— Свеженькие, — сказал он, — чтобы хрустели на зубах...

И даже слотнул.

— Да это тебе только кажется, что

ел бы,—уверила его мать.— Это когда ничего не было, так оно в охотку и шло, а сейчас бы — и дурню не нужны... Это ты просто забыл.

Он сказал:

— Так, может, тебе лекарство достать?..

— Да какое ж?.. Оно, как наш врач говорит: от старости, дорогие женщины, лекарства никто еще не придумал. Дранишников согласился:

— Да, что верно, то верно...

Кукурузу уже всю они почистили, мать, отряхивая подол, привстала, и тогда он поднялся тоже, и, расправляя затекшие плечи и потягиваясь, пошел по двору и остановился среди облетающего сада, и надолго замер, тихонько покуривая и как будто прислушиваясь к благодатной тишине вокруг.

Где-то в картофельной ботве еле слышно скрипел сверчок.

«Ишь, специалист,— подумал Дранишников, усмехнувшись.— Ночью холодно, так он днем приспособился...»

И увидел голубя в вышине, и задрал голову, глядя вверх.

Потом он услышал за спиною шаги и обернулся.

— Ты вот, где рушка, спросил, а я снова и вспомнила,— сказала, остановившись около него, мать.— Надо б тебе к деду Дранишникову сходить. А то помрет, неровен час, так и не повидаешь...

— Как он там? — спросил Дранишников.

— Совсем плохой стал. То работал все, а то уже и работу бросил, сидит, дни считает...

— Так когда это было — работал? Ему-то наверно... Сколько ему сейчас? Небось под девяносто?

— Да девяносто еще несколько лет назад ему было...

— А ты говоришь — работал!

— Да, он с год всего, как не работает,— сказала мать, будто этим гордясь.— А то все и привезут же его в кузницу, и домой потом отвезут — председатель всегда линейку давал. А там же у него, в кузне, раскладушка стояла. Поработает да приляжет. Полежит — полежит да и опять...

— Ты смотри,— удивился Дранишников — боевой дед!..

Он попытался представить родного по

отцу деда, но хорошенько припомнить его не мог. Как ни старался, виделся ему дед почему-то таким, каким он был на старинной фотографии — плотный, с пристальными глазами мужчина в высоких сапогах и суконной куртке, бородатый и крутолобый. Ноги чуть-чуть расставлены, и чуть расставлены локти, большие руки лежат повыше колен, а развернутые плечи приподняты, и слегка приподнята голова в высокой и косматой папахе...

— Это ж он рушку-то нам и сделал,— начала рассказывать мать, вдруг пригорюнившись.— После немцев уже, как бумагу за отца получили да переплакали, вот он как-то вечером приходит, и что-то плоское в крапивенном мешке. На, говорит, Нюра, сделал тебе, а то тяжело тебе будет, дак хоть это просить ни у кого не пойдешь, наоборот, у тебя просить будут... И правда. Чего, бывало, ни займешь, чего ни попросишь, а за рушкой — вся улица к нам.

— Смотри ты, а я и не знал, что это дедова...

— Да просто забыл.

— Наверно, забыл...

— Его — а то чья ж?.. Он-то старик добрый, всегда выручал. А в институт ты разве пошел бы, если б не он?.. Ты тогда собираться стал, а я плачу по ночам, криком кричу: за какие ж, думаю, деньги поедет — уже, что было, и чего не было, все продали! А тут он опять. Гляжу, идет. Деньги ж тогда большие были, крупные, дак он ут-такую пачку вынимает: на, говорит, невестка!.. Митя хотел, чтоб Сергей выучился, дак пусть это мальчишонка едет. Я двух овечек сегодня продал, на, бери. От ты и поехал!.. С год прошло, совсем прожились, хоть по миру иди — шутка ли!.. Я к нему. Стучусь в хату. Он на порог выходит, а я в ноги. Папаша, кричу, да не оставляйте ж нас! А тут эта змея Пилипенчиха... Что, кричит, дура, думаешь, он моих детей кормить бросит да твоих начнет?.. И прямо кидается. Он от так загородил меня от нее да говорит: приходи ко мне, детка, в кузню, а ее не слушай, недаром же, говорят, пословица есть, где черт сам не поспеет, туда бабу пошлет... От я, бывало, приду потом, а он — он же сильный был! Дровинянку какую-то приподнимет в углу, а под ней коробок железный. Специально для меня

стал прятать, к нему люди всегда ж с работой шли: коваль, каких поискать!.. Из коробки все выгребет и мне пхнет в карман, а я реву!.. Один раз пришла, а стыдно, дак я уже что: папаша, говорю!.. Я все запишусь, сколько вы мне даете — да, может, еще отдадим когда, чи я, чи Сережа... А он заинтересовался: да, говорит?.. Ишь ты!.. А ну-ка принеси, я со своей бумажкой сличу, чи сходится?.. Я плачу, несусь... Подаю ему, а сама думаю, да вроде ж писала все правильно, старалась, может, только по неграмотности что не так, какая с меня писака? А он взял от так и не глянул — в горно! Да как подкачает еще, дак ее хмылом-то прямо враз, эту бумажку!.. А он рассердился и говорит: грех тебе, дочка, считать!.. И отдавать ничего не надо. Разве я говорил? Ты не мне, ты, может, кому другому отдашь, у кого нужда будет, а у меня и так слава богу!..

Сколько раз слышал Дранишников эту историю и раньше, но никогда она не брала его за душу, как сейчас.

Вот оно как, подумал он, снова прикуривая и за теми морщинами, которые собрал вроде от дыма, как бы пряча от матери другие, вот оно какое дело, наверно, приходит к каждому человеку такое время, когда многие вещи начинают он понимать совсем по-другому, чем раньше... или это слабеет сердце?..

2 Пилипенчиха сперва не узнала его, но, приглядевшись, хлопнула перед грудью ладонями:

— Сереженька, да чи ты?... Дедушку проводить пришел! От молодец, что не забыл нас да родниssia — так и надо, а как же!..

Дранишников не удивился, если бы в голосе у нее услышал фальшь, и, подходя ко двору, он приготовил себя к этому, но теперь не ощутил ни ее притворства, ни собственной от этого неловкости, которую ему пришлось бы скрывать... С подступившим внезапно жадным интересом глядел он на дом своего деда, а память уже услужливо подсказывала ему, что ничего здесь не изменилось, почти все осталось таким, каким помнилось ему еще с давних пор, и он даже слегка удивился тому, что дом этот и на самом деле был и

высок и просторен. Собственный его домик тоже казался Дранишникову очень большим, и потом в один из своих приездов он рассмеялся, когда, не приподнимаясь на цыпочки, ладонью подпер потолок — они всегда потом становятся мельче, масштабы нашего деревенского детства... Однако этот вопреки всему и сейчас был громадный домина, и спереди высокий фундамент приподнимал его вверх как будто чуть больше, чем позади, отчего весь он казался похожим на горделиво заломленную папаху.

— Это мы давно уже вниз, а ты все вверх, все вверх тянесся, — говорила Пилипенчиха, закрывая за Дранишниковым калитку, обходя его потом с другой стороны и как будто откровенно им любясь. — Ты глянь, какой ты здоровущий да сбитый — ну, вылитый дед в молодые годы! — и всхлипнула вдруг, и белое лицо ее разом сморщилось. — А он уже... ох, плохой!..

Дранишников невольно вздохнул:

— Да мне мама говорила...

А она с той же неожиданной быстротой, с которой только что всхлипнула, теперь вдруг простодушно улыбнулась во все лицо, заговорила нарочно грубо:

— Ай, да ну его от-то к черту, нас слушать! Все нам не так, все на старости соим да охаем... Другой раз подумаешь, может, оно и к лучшему — чем от так, как мы в конце века-то жалковать!

Было ей, наверно, уже далеко за семьдесят, но так легко и прямо она держалась, так живо разговаривала и жестикулировала с такой уверенной силой, что Дранишников, невольно поддаваясь ее обаянию, подумал: а ведь, пожалуй, не ошибся дед, когда после смерти первой жены вторую себе выбрал — Пилипенчиха до сих пор была похожа на рано посевшую девушку, мосластую и краснощеку.

У порога они остановились под просторным навесом из винограда.

Его, видно, только что оборвали, и среди обломанных листьев на растрескавшейся земле еще мокрела расплюснутая ногами иссиня-черная кожура, еще лежали и здесь и там распавшиеся от удара оземь кисти, и в воздухе был слышен сладковатый дух размытых ягод и сухой запах потревоженной пыли.

— Лена! — крикнула Пилипенчиха, обо-

рачиваясь к двери большого сарая, и в ней почти сейчас же показалась склоненная на бок голова с тяжелым пучком волос — видно, женщина изогнулась, не отрываясь от какой-то работы. — Проводи Сережу до дедушки, а я поспею в погреб, налью вина...

— Может, я в погреб?

— Да ты ж не знаешь, где там хорошее, а где совсем молодое...

Женщина улыбнулась Дранишникову летучей улыбкой:

— Обождите, я мигом...

Дранишников остался один.

Он все невольно принюхивался, уловив кроме виноградного духа в осеннем воздухе еще какой-то очень знакомый ему запах, солоноватый и терпкий. Припомнил, что так припахивает рыбный жир, и удивился, откуда ему взяться здесь, посреди двора, и вдруг, обернувшись, увидел растянутую между столбом из-под навеса и сараем большую снизу вяленой рыбы.

Рыба висела крупная, и распластана она была по хребту, так что ему хорошо были видны и гнутые изжелта-белые ее горбы, как будто тронутые каплями янтаря, и сохлые уже, серые с черным отливом бока в серебристой чешуе.

Он сам был отчаянный рыбак, но в последние годы складывалось так, что ему о рыбалке некогда было и думать, зато вид вяленой рыбы и особый ее запах так и остались для него как бы знаком вольной жизни, простой и счастливой, и сейчас ему показалось тоже, что солоноватый и терпкий этот запах, странно перемешанный солнцем с тонким ароматом винограда, как бы соединяли в себе и изысканную щедрость осени, и вольную ее простоту...

Дранишников, слегка засопев, еще раз втянул ноздрями воздух, принюхиваясь, и ему вдруг стало хорошо от какой-то уверенности, с которой будто бы он стоял сейчас на земле... И вдруг ему представилось, как он сидит у постели своего умирающего деда и видит и почти неживую бледность, и немощь, и слышит прерывистый храп, и ощущает несвежий дух старческого тлена, ему представилось это, и он вздохнул — длительно и прерывисто, как ребенок.

Из сарая вышла женщина, они поздоровались, и он скорее догадался, чем вспомнил, что это младшая дедова доч-

ка, которую он нажил уже с Пилипенчихой...

— Пойдемте, — сказала она, снова улыбаясь ему не то чтобы торопливой, но тут же исчезающей, как будто мимолетной улыбкой, открыла калитку в сад и пошла первая, потом обернулась на миг, словно приглашая его еще раз, и Дранишников снова увидел быструю ее белозубую улыбку и карие темного отлива глаза на смуглом лице.

Пожалуй, она была красива как раз той южной красотой, которая припоминалась ему всегда, когда приходилось, то ли в шутку, то ли всерьез вздыхая, расскашивать иногда, какие на Кубани девчата, и теперь он не без мужского любопытства, почти всегда практического, окинул глазом всю ее ладную фигуру, замечая и то, как выгибаются у нее из-под прически и выются по смуглой шее черные колечки волос, и то, как чуть ниже подмышек, по бокам туго полнеет платье, и как покачиваются крепкие, может быть, чуть полноватые бедра.

«Наверно, слегка за тридцать, — подумал Дранишников. — Конечно — лет на шесть — семь моложе... Выходит, она мне тетя... а ничего тетя!..»

— Он здесь, в саду все сидит, — сказала она, оборачиваясь, и пошла теперь как-то боком, и по напряженной спине ее Дранишников понял, что она, пожалуй, уже раскаивается, что первая пошла по узкой тропинке, как будто предоставив ему возможность себя разглядывать.

— А вы одни приехали?

Он сказал, почему-то торопясь:

— Да, один... У меня ведь не отпуск — так, не то командировка, не то... Заскочил на несколько дней.

И тут он увидел деда.

Дед сидел за непокрытым пустым столом под яблоней, чуть набок склонив голову, как будто задумавшись. Крупные его, исковерканные работой руки замерли на столешнице вниз ладонями, и рядом с ними лежал большой желтый лист.

Теперь Лена остановилась, пропуская вперед Дранишникова, сказала громко, словно глухому:

— Папаша, Сережа пришел, ваш внук...

Дранишников еще не успел поздороваться, как дед приподнял голову и медленно, но с явной насмешкой сказал:

— Да, глаза пока есть...

— Присаживайтесь, — сказала Лена, указывая Дранишникову на табурет, стоявший с другой стороны стола.

И дед медленно повел головой, тоже приглашая его:

— Садись.

Дранишников сел, и за спиной у него почти тут же появилась Пиlipпенчиха, опустила на середину стола маленький пузатый графин с вином, ловко перевернула рядом надетые на два пальца стаканы с каплями на стенках — видно, только что мытые, а Лена уже взяла у нее из другой руки эмалированную чашку с виноградом, тоже определила ее на середину, потом слегка подтолкнула ближе к Дранишникову:

— Угощайтесь, пожалуйста...

Все это время дед сидел, как-то странно перебирая по краю стола крупными своими слегка скрюченными пальцами, не спеша поворачивал голову, следя за каждым пилипенчихиным жестом, однако взгляд его был остер и цепок, и как только она отняла руки от стола, он подвигал челюстями, прежде, чем открыть рот, и сказал глухо, но твердо:

— Все, что ль?.. Ну-ну, нечего вам... ступайте!..

Медленно приподнял руку и пальцами слегка шевельнул, отсылая женщин.

И этот неспешный, но властный жест почему-то понравился Дранишникову.

Дед молча начал разливать, рука его с неловко зажатым в пальцах горлышком графина легонько тряслась, и розовая струйка то подрагивала тоже, то прерывалась совсем, но дед снова упрямо клонил графин, и вино опять тихонько журчало и булькало.

Казалось, он весь ушел в это нелегкое для него дело, не замечая ничего вокруг, и пользуясь моментом, Дранишников смотрел на деда в упор, с любопытством, пытаясь найти у него на лице приметы глубокого его возраста... Мельком он вдруг подумал о том, что давно уже не видел по-настоящему старого человека — работали вокруг него то молодые ребята, то, как он сам, средних лет, ими он руководил, называл или поощрял, с ними он и выпивал, и праздники праздновал, и хорошо, если случалась авария, тоже совсем молодых или таких, как он сам, только в главке теперь помирали — в

основном от инфаркта — люди постарше, но тоже такие, каким до пенсии еще — будь здоров. А ведь и верно, давно он уже не видел настоящих стариков, у монтажников чуть за сорок — уже старик и сам тридцатилетний здоровяк величать тебя станет дядей и скажет уважительно, но и не без усмешки: папаша...

А тут сидел напротив него старый человек, и был он родной его дед, и Дранишникову, давно считавшему себя и как бы сиротой, и вместе как бы родоначальником — у него подрастали двое мальчишек — было это непривычно и странно...

Он всматривался в матовое, как будто налитое воском лицо деда, что-то в нем казалось ему неестественным, и сначала он подумал, что это и заострившийся хрящеватый нос, и, словно тоже начавшие костенеть, большие уши, но потом, приглядевшись, понял, что необычными были у старика и усы, и брови, и короткий между большими залысинами ежик... Казалось, все это трудно назвать седым, то был какой-то странный, словно замшелый оттенок серого цвета, волосы и здесь и там росли одинаково толстые и прямые, но и одинаково редкие, такие, что их, пожалуй, можно было пересчитать — и в клинышке на крутом лбу, и в набрякших надбровных дугах, и над желтоватой, и как будто бы чуть припухлой верхней губой... Может быть, это от кузницы, подумал Дранишников, от раскаленного металла, от вечного его жара?

Дед кого-то напоминал ему, матовым своим лицом был он на кого-то очень знакомого похож, только Дранишников никак не мог вспомнить, на кого...

Теперь он видел, что дед очень стар, но одряхлеть он еще не успел, и в том, как упрямо держал он голову, следя за графином, как, поставив его на стол, расправил мосластые плечи, еще чувствовалась былая сила.

На старике была белая исподняя рубаха, совсем свежая, с блестками от утюга на грубых рубцах, а поверх нее старая, почти без шерсти безрукавка из овчины, и то, что рубаха эта без ворота открывала грудь и что полы кожанка свободно висели — все это тоже придавало ему вид бодрый и, несмотря на дрожащие руки, как будто даже лихой, и Дранишников все смотрел на не-

го, готовый улыбнуться деду, как только тот на него посмотрит.

Он повеселел теперь, потихоньку радуясь и тому, что старик его, против ожидания, еще будь здоров, крепкий еще старик, вон как держится, и тому еще, что ему, Дранишникову, не придется смотреть на немощь да вздыхать, да говорить всякие жалостные слова — вон, слава богу, чего их и говорить!

Сверху упал, кружась, и лег на виноград большой желтый лист...

Дед посмотрел в сторону дома, как будто все еще провожая глазами женщин:

— Не люблю от-то, когда в стакан ко мне заглядывают...

Ишь ты, подумал Дранишников, а и в самом деле, боевой у меня дед, я тебе дам дед, с характером!.. Конечно, все они тут любят понуть да поприбеднаться, их и медом не корми, дай пожаловаться, а чего жаловаться, эге — что от нас останется в его-то годы!..

Дед снова подвигал челюстями, как будто прожевал что, прежде чем начать разговор:

— Ну, давай, пока их нету... ты молодец! — и качнул головой, глядя на Дранишникова с легкой усмешкой. — Я думал, забыл меня!..

Дранишников улыбнулся, поднимая стакан:

— Да вроде нет...

Все это время, пока смотрел на деда, он как будто настраивался на благодарный и радостный разговор, и он настроился, ему хорошо был сидеть напротив старика под облетающей яблоней, и все его теперь трогало, и эта насмешливая улыбка, и по-дружески ворчливый голос, и все казалось ему значительным и полным какого-то понятного только им двоим особого смысла...

И, принимая тон деда, как бы давая ему еще повод для насмешки и признавая и глубокое старшинство его, и покровительство над собой, Дранишников сказал весело:

— Я шел сейчас по саду, и знаете что вспомнил?.. Как я с пацанами решил груши у вас оборвать... Только пазуху набивать, а тут вы. И все убежали, а я на дереве и остался...

Дед, не торопясь, отпил два-три глотка и пятерней потом вытер усы.

— О-хо! — сказал он. — А кто не гре-

шен?.. — и опять посмотрел на Дранишникова насмешливо. — А Замурины тебя в саду своем никогда не ловили?..

Дранишников постарался припомнить:

— А кто это?.. Где живут?

Дед снова пожевал:

— Ты-ка выпей...

Дранишников тоже не стал много пить, только попробовал.

Вино было старое и немного горчило бочкой, но за этим привкусом давно намоченного дуба ощущалось жаркое солнце пахучей «изабеллы», самого неприхотливого и по-южному терпкого винограда...

— Хорошее вино...

Дед снова усмехнулся:

— Плохого не держу...

— Очень хорошее вино.

— А меня Замурин поймал один раз, — сказал дед, качнув головой. — Да хитро как поймал. — И посмотрел на Дранишникова, чуть к нему наклонясь: — Ты рази не помнишь его?.. Мельницу он держал водяную...

И Дранишников насторожился:

— Мельницу?

А дед задвигал челюстями чаще обычного, и глаза у него странно заблестели:

— Один раз я только залез к нему, он идет. Я обратно через плетень. А он сорвал две груши — большие такие! — и тоже перелазит... На, кричит, казачок!.. И от так положил зли ног. Я только наклонился взять, а он хуражку с меня — цоп!..

Замолчал, глядя выжидаючи, и опять взгляд его почудился Дранишникову странным: казалось, деда ничуть не смущало, что все это было очень давно — он и сам сейчас переживал, и от собеседника своего требовал глазами сочувствия, так что вот, не выдержав, Дранишников закивал: мол, ведь надо же такому случиться!..

А деду словно того и хотелось, чтобы запереживал и Дранишников. Теперь он посмотрел на него с хитрецой, и голос его звучал успокаивающе:

— Ну, я и тогда уже был не казачок, а два боку... Сначала вроде отстал от него. От он идет, хуражкой моей помахиивает, а тут я на него — как шмель налетел, как ястребок, цоп тоже! и нету...

Дранишников опять невольно закивал, как будто удивляясь. А дед вздохнул:

— Н-ну, то давно было.. Когда, счи-
тай?..

И Дранишников обрадовался:

— Да, это когда.. Лет восемьдесят..
Больше!

— Это давно! — подтвердил дед. Молодцеватым, несмотря на его неспешность, жестом согнутую ладонь приставил к боку и над мосластым плечом горделиво приподнял подбородок. — А ты вчера со мной был.. или на свадьбе?.. А-а, нет, тебя не было, и правда, за балалайкой один я ходил. А когда играл я, ты слышал?.. Мы сами, понимаешь.. Что, если он — атаман? Я сам себе атаман — рази нет?

Дранишников уже все понял.

Теперь он смотрел на деда жалеючи, но тот, наклонившись, всматриваясь в лицо Дранишникова, как будто все ожидал ответа, и Дранишников сказал, погруснев:

— Д-да.. это да.

И дед снова посмотрел на него очень цепко:

— Хуть понимаешь, что я толкую?..

Как будто подозревал, о чем думает Дранишников. А тот быстренько сказал:

— Понимаю.. Примерно.

— Да ты по глазам толковый хлопец, — проговорил дед, снова всматриваясь в лицо его очень пристально. — Ты всегда приходи, когда надо.. Хуть поговорим.

— Угу, приду, — пообещал Дранишников искренне и с внезапной для себя благодарностью в голосе. — За это спасибо..

Дед все не отрывал от него взгляда:

— Бывает, что денег у меня нету.. Да поговорить, оно тоже другой раз — дорожке денег. Да самое главное я теперь сказал тебе: главное, чтоб ты всегда был сам себе атаман.. Тогда тебе никакой черт не страшный. Рази нет?..

Дранишников сказал заинтересованно:

— Да в общем-то так..

Дед снова неторопливо заговорил, и хоть смотрел он опять на Дранишникова, в глазах его не было той настойчивости, с которой он только что заставлял перерождать за себя, и голос его звучал как будто задумчиво:

— Если гнесся да ломисся, потом тебе и непонятно, за что достается.. Ты вроде и так, и сяк, и все одно. Так и проходишь всю жизнь, как тот кисляй, так и не поймешь. А если ты атаман, то

рази не ясно?.. А за то и достается, что ты сам себе атаман, и за все ответчик! За то и достается, что не гнесся! И знать будешь, и голову будешь держать от так!..

Он снова приподнял над плечом подбородок, но на лице его теперь не было значительности, было оно печальным.

3 И по дороге домой, и дома Дранишников все возвращался к странному своему разговору с дедом, все припоминал из него ту или другую подробность, и его одолевали самые противоречивые чувства.. То все ему становилось безжалостно ясным, а то вдруг начинало казаться, что есть в этом разговоре — как и во всем поведении деда — смутная загадка, есть какая-то неопределенная тайна, которую, может быть, и удалось бы разгадать, сумей он хорошенько понять: в чем она?..

И ему то думалось, что навестить старика он безнадежно опоздал на несколько лет, а то представлялось, что все-таки он успел, что свидание это могло быть тем единственным, ради чего, сам этого не сознавая, рвался он в родную свою станицу. И пусть ему не так просто было дать себе отчет во всем сразу — временами он был яростно убежден, что не реши он в этот последний день провести деда, жизнь его впереди навсегда стала бы намного бедней.

И он все думал и думал, стараясь проникнуть в то, что казалось ему загадкой.. что-то вдруг виделось ему неожиданно простым и понятным, но в другом он как-будто не улавливал смысла, и тогда старый Дранишников с почти столетней своей жизнью казался ему как будто особым миром — таким, который еще живет, но связь с которым уже навсегда оборвалась, нету ее и больше не будет.

У матери он спросил:

— А так он.. ничего?.. Не обидит, не пошумит?.. Ничего.. такого не делает?

Мать удивилась:

— Боже сохрани!.. Спокойный, ты же видел, и важный вроде такой. А что уважливый, дак и еще больше стал.. Только раньше был такой выдержанный, а теперь все это вроде свое доказывает, да верха берет, да чем-то гордится.. все гордится!

— А с балалайкой? — продолжал Дра-

нишников с любопытством. — Я поставился потихоньку расспросить — что, так и было?..

— А это, правда, еще и мамаша, покойница, рассказывала... Еще ж парубковал он тогда, молодой совсем был. А у атаманова сына свадьба. А они ж и друзья с женихом, и с одной улицы, а что вот казаки не чистые, что мать-то у него мужичка... От и не позвали его. А он, говорит, тогда к себе в хату да за балалайку. — Да как по ней ударит, да как запоем! — А он такой же придатный был, да голос — на всю станицу... Оно все и со свадьбы — на улицу да к нему: да заиграй еще, Ваня!.. А его долго не надо просить. От жених с невестой почти одни да и остались... Тогда ж это атаман да и выходит, сам его на свадьбу зовет, а он — как его вроде и нету, атамана. Пляшет, да поет, да смеется, девки да молодежь вокруг него — роет...

А Дранишникову почему-то припомнилась вдруг поздняя осень шестьдесят третьего, когда начинался разворот на первой домне Запсиба, и у него не хватало людей... На стройку тогда должен был придти эшелон с демобилизованными солдатами, но их всех решили отдать строителям, зиму должны были у бетонщиков чертоломить и на совещании в «Сибметаллургстрое» ему отказали наотрез. А до этого чуть не клялись, что ему пополнение будет в первую очередь, и только потому он, скрепя сердце, и оторвал от себя пять бригад, отправил в командировку на стройку цементного завода, там у соседей трещали обязательства... Потом эти бригады, не спросив его, соседнему управлению монтажников отдали насовсем, а его склонять принимались на каждом рапорте: Дранишников не успел... Дранишников не обеспечил...

Он вызвал заместителя своего, Конькова, велел подумать, как вырвать для управления хоть человек пятьдесят, но Коньков только руками разводил, не заместитель, а тухля достался ему еще от Нечипоренки. Послал он за бригадиром Бастрыгиным, тот горлопан и отчаяюга, и они посидели вдвоем, все продумали, и на следующий день, когда только что сошедшие с поезда солдаты еще с вещевыми мешками да новенькими чемоданами сидели в громадном зале «Комсомольца», ждали, пока перед ними выступит будущее их строительное

начальство, Бастрыгин вошел в зал и мимо этого самого начальства, которое все уточняло, кому сколько народу достанется, прошел на сцену, сгреб со стола микрофон и голосом заправского старшины гаркнул:

— Монтажники — встать!.. За мной — на выход!

И сто семнадцать хлопцев, гвардейцы, красавцы, встали, как один, и стуча сапогами, заторопились из зала, а на улице ждали автобусы, и начальники участков да прорабы подсаживали в них ребят и подталкивали, и машины тут же ушли, скрылись, так что парткомовский «газик», промчавшийся вслед со стройжайшим приказом вернуться немедленно, не мог их разыскать... В управлении в этот день разбили телефоны, но Дранишников тоже не дурак, туда солдат не повез, отправил их на дальний участок, там у него сидели в этот день и бухгалтерия, и отдел кадров, оформили всех немедленно, и спецовку выдали на руки, и в зубы — звено, и повезли в общежитие, где уже накрывали столы...

Тут Дранишников сказал короткую речь и поднял граненый стакан с водкой, но пить не стал, у него в кармане уже лежала телефонограмма, ему надо было срочно в райком, на «ковер», и тут девчата-монтажницы уже кричали: «Ой, куда ты, Ванек, ой, куда ты», а там было экстренное бюро, и маленький, с дергающей щечкой секретарь спрашивал вкрадчивым голосом, существуют для него, Дранишникова, партийные нормы...

Ему дали строгий с занесением в учетную карточку, управляющему трестом было предложено освободить его от работы, и неизвестно еще, чем бы все это закончилось, если бы как раз в эти дни в Новокузнецк не прилетел Сандомирский, бывший тогда — как он теперь — заместителем начальника главка по пусковым...

Почему это припомнилось Дранишникову сейчас?..

Он сам удивлялся настойчивости, с которой пришло к нему это воспоминание, и ему невольно начинало казаться, что между тем, о чем рассказывала его мать, и этой историей есть какая-то невидимая на первый взгляд связь, — он ощущал ее, как ощущал теперь в себе множество и свойств натуры, и черточек, скрытых для него раньше, и только теперь открывшихся и как будто род-

нивших его со старым Дранишниковым.

Раньше, сам ощущавший в себе и порывистую резкость, и прямоту, и негерпимость ко всякой неправде, он, послевоенная безотцовщина, всегда относил это исключительно за счет самовоспитания, и тайком всегда этим гордился. Но, странное дело, теперь, когда ему открылся источник и энергии его, и твердости, и прямоты, и когда ему, поняв это, у самого себя как будто пришлось что-то отобрать, он не только не огорчился, но почему-то даже обрадовался, и радость эта была от ощущения в себе корня, от ощущения непрерывности жизни...

Он снова подумал о том, что желтоватым своим и местами как будто чуть припухшим лицом дед похож на кого-то очень знакомого, подумал об этом раз и другой, и вдруг понял, что знакомый этот — он сам, Дранишников, это у него было такого цвета лицо, тоже как будто окостеневшие были уши, когда в Новокузнецке он вышел из больницы после аварии на рельсобалке... И верно, это он таким был, теперь он отчетливо вспомнил себя в пижаме подолгу глядящим в зеркало — он высох тогда, пока лежал, и, как дед сейчас, был тогда — одни мослы...

Об аварии этой Дранишников не любил вспоминать. Самого его тогда ударило обрывком троса, и, падая, он чудом зацепился за металлическую скобу на ферме, висел, теряя сознание, метрах в сорока над зубьями арматуры внизу, в котловане распределителя, и дергался, и кричал в голос, словно уже сорвавшись, и всякий раз, когда он теперь вспоминал об этом, у него замирало внутри, приходил страх, приходила боязнь высоты, и, чтобы доказать себе, что высоты он, как и прежде, все-таки не боится, он потом обязательно проходил там, куда в его возрасте можно было бы не соваться. Удивительно, это ему почему-то было очень нужно — когда никто не видит, одному пройти по такой балке, по которой на спор проходили иной раз эти щенки, зеленые мальчишата из ремеслухи... И для него это было — как подзарядка, и после он вдруг ловил себя на том, что говорит чуть громче обычного и чуть насмешливей, и ходит прямой, и голову держит выше...

О самой аварии он вспоминать не любил, но с удовольствием припоминал то время, когда он стал отходить после

травмы, когда заново он начал переживать красоту и значительность мира вокруг, и многое переоценивать, и, может быть, впервые начал всерьез задумываться о жизни.

До этого он всегда был здоров, счастлив с женщинами, и все ему удавалось, а потому у него как бы и не было особых причин задумываться, и только в те дни, когда он будто впервые понял, какое это счастье с непокрытой головой сидеть на скамеечке в больничном саду и смотреть, как на мокром асфальте дерутся черные от копоти, давно привыкшие в этом городе устраивать себе гнезда где-нибудь под гремящими пролетами цехов воробьи, тогда он вдруг стал спрашивать себя: зачем он живет?.. Что им движет?.. И так ли все кругом просто и бесспорно, как говорили ему об этом и в школе, и в институте, и потом на политзанятиях, где он семь лет подряд из года в год записывался в один и тот же кружок и, посмеиваясь, семь лет подряд отвечал по одному и тому же конспекту...

И снова припомнил себя в те дни после больницы, припомнил, какой он был худерба с чуть одутловатым, словно от голода, лицом, на котором так выделялись тогда будто затвердевшие нос и уши — а ведь и в самом деле сходство его с дедом было тогда особенно заметно, и он понял это только сейчас...

Дранишников, никогда раньше не любивший оглядываться, очень редко о чем-либо сожалел, но сейчас вдруг почувствовал сосущую грусть — оттого, что, приезжая домой, всегда ненадолго, никогда не навещал своего деда, никогда с ним не разговаривал... Сказать кому, будто Дранишникову надо, чтобы о нем думали, чтобы за него болели или гордились им, сказать об этом кому — не поверят, а только ему это нужно, и в самом деле, нужно, чтобы сопровождал его по жизни не только бесконечный, почти животный страх матери за его здоровье, не только наивные ее заботы о его семейном благополучии...

Теперь Дранишников был уверен, что даже и его профессия механикомонтажника как будто брала начало где-то в кузнечном дедовом ремесле, он теперь так и считал — вот как оборачивалось дело...

Он все бродил по двору, покуривая, стоял, притихнув, то здесь, то там, и все раздумывал, подходил потом к матери

и, о чем-либо спросив ее, снова принимался шагать за домом или присаживался на большой камень из ракушечника, который лежал посреди сада — говорили, у старых хозяев на этом камне одним углом стоял раньше амбар...

Только одно он спросил у матери:

— Ну, а с атаманом они как... после этой истории, не знаешь?

И мать удивилась:

— Да как?.. Мстительный был, мамаша, покойница, говорила, не дай господь... Так все и прискипался к нему потом, пока дед его не убил.

— Атамана?

— А то кого?

— Дед?

И мать снова как будто удивилась:

— Ну, а то кто? — и спокойным, ко всяким рассказам на своем веку привыкшим голосом начала медленно: — Это уже в восемнадцатом... Белые вошли и к нему первым делом — коней ковать, разбили ж от-то по горам. А еще перед этим они мужиков пороли на площади, а деда и вроде не тронули, но сам атаман плеткой по лицу его стебанул. Он теперь: не буду ковать. А тот: будешь. И опять у них на противность пошло. А белые с собой пленных красноармейцев привели, за станицей какой-то отряд поймали. Тогда атаман и говорит: ну, что, не хочешь, Иван, придется мне тебя опять попросить... Вот, говорит, интересно: чево-то я тебя все прошу, а ты меня хуть бы раз?.. И повели его с красноармейцами на ярмарочную площадь, за маслобойню. Поставили всех от-так один от одного в два ряда, а дед последний... От атамана шапку вынул, смотри, кричит, Ваня, как я просить тебя буду!.. И пошел же от-то красноармейцев рубать, как лозу на скачках. Они, бедные, все молодые были ребята, мамаша, покойница, рассказывала... Валются по обе стороны, не успевают и крикнуть. А последний же дед. Только атаман к нему, да уже шашкой намахнулся, а он как крикнет на коня: Турка!.. А конь у атамана был, черкесы подарили, такой конь, что никто и не подходи, это ж один дед и мог с ним совладать; когда ковал, дак вся станица сбегалась посмотреть... Только деда и признавал. Вот он как крикнет на его: Турка!.. А тот над ним дыбки, а дед атамана за ногу, да с коня, тот шашку выронил да за наган, а дед

его кулаком в темя, а у него ж кулак не дай бог. Мамаша, покойница, рассказывала: был пьяный да посуду побил, а она взяла да купила тогда железные чашки. Он снова пришел с ярмарки выпивши да говорит: а, бодай тебя черти, думаешь, железные, дак и все?.. Перевернет чашку, да по дну кулаком. Так и побил все...

— А как же он живой-то остался? — спросил Дранишников.

— А, да как?.. Он же на этого Турку да и пошел. Два раза ранили, а догнать все одно не догнали...

Удивительным это казалось Дранишникову: встать, выйти со двора, и через пять минут оказаться уже за маслозаводом, на старой ярмарочной площади, где стоял когда-то ожидавший смерти его дед, и между двумя рядами мальчишат в красноармейском с окровавленной шашкой неся на сумасшедшем коне озверевший казак...

Что он, дед, уже попрощался тогда с жизнью?.. Почему он не передумал по дороге, не согласился ковать?.. Почему уже там, стоя в пяти или восьми метрах от срубленного мальчишки, он крикнул, называя по имени не человека — его лошадь?..

К вечеру стало прохладно, в синем воздухе тонко запахло горьким дымом — где-то сжигали бурьян...

Камень из ракушечника стал набирать холода, и Дранишников вдруг почувствовал, что озяб, но уходить из сада ему не хотелось, и тогда он пошел к сараю, снял со стены и накинуд себе на плечи старую телогрейку, потом искал еще что-нибудь из тряпья, нашел сшитый из разноцветных лоскутов тонкий ватник, бросил его на камень в саду и снова сел, сложив руки на груди и опустив к ним подбородок...

Интересно, подумал он, а нынешнее состояние деда, это что — напасть, черные провалы, и пустота, и призрачная белизна, бесконечный и монотонный поток призрачной белизны, как это бывает при беспамятстве?.. Или мир, в котором он живет теперь, — совсем другой, — безоблачный и, как зеленые долины, спокойный, и он сам создал его, этот мир, взяв туда с собой только то, что может утешить, чем можно гордиться, и оставив за чертой и горечь прожитых лет, и поражения свои, и неудачи?

Разве и мы, подумал он, сорокалет-

ние, уже не создаем — всякий себе — такой мир, в котором жилось бы нам удобно и достойно?.. И какие-то черты в самих себе — каждый в отдельности — и какие-то явления вокруг нас — сообщая разве мы не называем теми или иными именами лишь потому, что считаем нужным поддержать странную игру в собственную значительность или в общую нашу непогрешимость? И что — разве мы не перестаем постепенно замечать то, что нам меньше всего хотелось бы замечать?.. Да мы и помним большую часть лишь то, что нам обычно хочется помнить, и пытаемся навсегда забыть то, чего всю жизнь надо в себе стыдиться, и говорим только об успехах своих и удачах... Послушай, сказал он себе, а с какой настойчивостью выпроваживаем мы из своей памяти друзей, перед которыми виноваты?.. Или женщин, которых мы преда-ли?..

А деду, слава богу, за девяносто, и жилось ему труднее, чем нам, и жилось, конечно, далеко не всегда так, как ему хотелось бы, и может быть, только теперь, в мире, который он сам для себя незаметно создал, зло всегда бывает наказанным, и всегда торжествует справедливость, и это мир, в котором он всегда — победитель...

И снова проживший долгую жизнь его

дед увиделся Дранишникову как будто добровольно ушедшим со связи ради-стом или забывшимся в одиночестве усталым пилотом...

И Дранишников уже в который раз сегодня спросил себя: успел он — или все-таки опоздал?..

4 Среди ночи Дранишников вышел во двор и остановился, замерев.

Над садами еще держался про-горклый запах осенних костров, но он уже был разбавлен зябким морозцем...

За серыми деревьями синеватыми те-нями прятался туман. Стылое небо све-тилось бледным призрачным светом.

Дранишникову показалось вдруг, что через дым и туман скачет к нему по спящим садам неуловимый всадник на сумасшедшем коне...

Но Дранишников только слегка повел головой, и всадник безмолвно осадил коня и повернул послушно назад...

Станица спала.

Он услышал сверху тоненький пере-звон и поднял голову.

Где-то очень высоко летели гуси, и тихие их, словно холодные звезды, под которыми они летели, слабо мерцаю-щие голоса звучали жалобно и печаль-но.

*Первая
лыжня*



Крепнут культурные связи между Кемеровской и Ноградской областью Венгерской Народной Республики. Не последнюю роль в укреплении этой связи играет Кемеровская областная организация Союза журналистов СССР. Ею подготовлена фотовыставка, рассказывающая о Кузбассе, его хозяйстве и культуре, которая в прошлом году демонстрировалась в Шалготарьяне и других городах Ноградской области. Нынче летом в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске экспонировалась фотовыставка «Венгрия сегодня», полученная из Шалготарьяна. С помощью кемеровских журналистов венгры издали у себя книгу «Золотой мост», в которой рассказали о Кузнецкой земле, ее людях и дружбе двух областей.

Кемеровское книжное издательство, Кемеровское отделение Союза писателей РСФСР совместно с издательством «Корвина» Венгерской Народной Республики готовит к изданию поэтический сборник «Встреча», в который войдут лучшие стихи поэтов Кемеровской и Ноградской областей. В книге будут стихи на русском и венгерском языках. Стихи венгерских поэтов уже переведены нашими поэтами на русский язык и отправлены в Будапешт в издательство «Корвина», которое выпустит эту книгу дружбы. Ноградские и кемеровские художники также принимают активное участие в создании сборника «Встреча». Их гравюрами будет украшена книга. Сборник должен выйти из печати и поступить на прилавки книжных магазинов Ноградской и Кемеровской областей в 1972 году.

Мы знакомим вас с переводами нескольких стихотворений венгерских поэтов, выполненных поэтами Кузбасса для сборника «Встреча».

Л. ГЛЕБОВА

Деже Дьери

МОЯ ВСТРЕЧА С ДЕВУШКОЙ, СОБИРАЮЩЕЙ ЯБЛОКИ

Осень. Я замер под струями солнца,
К яблоне глаз приковал.
Как необычен сегодня и ярок
Листьев ее карнавал!
Девушка тянется к верхнему яблоку,
Ветку согнув, чтоб достать.
Яблоки юной груди наливаются,
Прочим — созревшим — под стать.

Белкой искусной взбирается круто
Над головою моей.
Ноги ее прикипают упруго
К шатким ступеням ветвей.
В синий горошек воздушное платьице,
Бедро, берущие в плен...
Клонится ствол шоколадный и вздрагивает,
Белых коснувшись колен.

Мне бы ворваться в ее королевство...
Возраст не тот! — Ну и пусть!
Мне бы обнять ее крепко и нежно...
Только обидеть боюсь.
Знаю: век не добьется прощения
Ей причиненное зло.
Мне этой осенью так неожиданно,
Здорово так повезло.

Тихо стою в стороне и люблюсь.
Мысль и светла и чиста.
Думаю я: это очень разумно,
Если влечет красота.
Думаю я: существует нелепая
Необходимость — стареть...
Чтобы ее да увидеть поблекшую —
Лучше сейчас умереть!

Я сохранию ее в чудном мгновении
Яблоком, белкой, лучом...
Юной груди и коленям отныне
Времени бег нипочем.
Дикая, девственная, прекрасная,
Вечностью станет она.
Может быть, эта невинность доверчивая
Лишь для меня создана.

И наполняюсь я древнею радостью,
Светлая вера во мне.
Только смеется она, заливается
В солнечной вышине:
— Что засмотрелся! Конечно, достанусь я
Милому моему,
Может, тебе — ну, а может, кому-нибудь,
Может быть, — никому!

Перевод Г. ЮРОВА

Иштван Полгар

О ТЕБЕ

Белизной моя сорочка светит —
Это ты.
Красный ободок на сигарете —
Это ты.
Жаркое дыхание нежных губ —
Это ты.

Легкий след на тающем снегу —
Это ты.
И на лбу моем морщины —
Это ты.
Плен до самой до кончины —
Это ты.

Перевод В. МАХАЛОВА

Бела Вихар

ТОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЯ

Нет, не легче сдержать, не просто,
В тень убегающие дни.
Меня роднят — со мной, подростком,
Воспоминания одни.
Те сроки смутны и туманны
Из нынешнего далека.
И лишь деревья — постоянны
И неизменчивы пока.

При лунном свете — золотые,
Еще по-прежнему крепки,
Они — как берега крутые
Давно исчезнувшей реки.
Шагают быстро год за годом,
Жизнь завершает путь земной.
Плывут, как плот за пароходом,
Воспоминания за мной.

Перевод В. БАЯНОВА

ДВА РАССКАЗА

СИНЕЕ-СИНЕЕ...

Наряд окончен. Раскомандировочная быстро опустела. Бригадир Жариков, не любивший одиночества, крепко потер ладонью коричневый лоб. Солнце уже поднялось над окрестными домами — сильное, жаркое, оттого, видно, и постоянный прищур в немолодых серых глазах Жарикова.

Вошел Мишка Кочетков. Поступь не-смелая, взгляда на Жарикова не поднял. Этого за ним раньше не водилось. В бригаде он самый расторопный, до всякого дела охочий. А у Жарикова как раз неотложное. Распорядился:

— Сгоняй-ка, Мишуха, в Сосновку. У комбайнеров опять с запчастями...

— Не поеду, Василь Андреич, — Мишка и тут не поднял взгляда на бригадира. — О том и сказать пришел.

Бригадир удивленно оглядел коренастую Мишкину фигуру, обратил внимание на его до блеска начищенные штилеты, на клетчатую безрукавку, на брючки «бутылочками». Тихо переспросил:

— Как это не поедешь?

— Василь Андреич, в город я окончательно надумал... В город. Такая причина, Василий Андреич.

— В город?.. — кивнул Жариков и отчужденно повторил: — В город...

К этому он, наверное, никогда не привыкнет. Нет-нет да кто-нибудь и навестрит лыжи в город. И тут бригадир вдруг на себя озлился: такого парня прово-ронил! С весны еще замечал в нем перемену, а вот поговорить запросто, по душам так и не собрался. Мишка становился все молчаливее, людей будто все сторонился. Может, втюрился в кого, а любовь это ведь такая штукавина, не только юнцы голову теряют. И на самом-то деле до людей будто ни руки, ни

мысли не доходят, — все семена, подводы, мешкотара, запчасти. А жизнь, это ведь не только запчасти, мешкотара. Жизнь — она крупнее, она как твоя земля. От самого края летних небес. Сам-то он здесь и помрет. Так на роду написано. Работаешь век свой на земле, обихаживаешь ее, и в землю эту ляжешь. Ничего хитрого. Когда по осени девяностолетнего деда Фетиса хоронили среди кривых березок, на всех четырех ветрах, у Жарикова даже мысль мелькнула: вот и твое местечко здесь, бригадир. Что ветры задиристые по осени, по весне, что снега сажанные, — так какое дело деду Фетису или Жарикову, когда его черед настанет.

А молодежь в город! А ты, бригадир, сколь ни хлопочи, а не станешь поперек. Даже слов подходящих для этого нет — ни о жизни, которая вон как налаживается, ни о раздолье страдной поры.

И ведь от Мишки он меньше всего ожидал, что парень выкинет такое коленце. Смекалка, ухватка, приверженность к земле, — ну все-все. Его ведь полагал выдвинуть в бригадиры, когда через годок сам уйдет на пенсию. Голосовали за парня, а он вон что учинить собрался. Для верности переспросил:

— Бесповоротно?

Мишка медленно приподнял скуластое лицо, немигающе глянул в лицо бригадира.

— Некуда больше поворачивать, Василь Андреич. И маманя вот сказала: — «Такая у тебя планида, сынок».

— Это она о длинных городских руб-лях?

Мишка прижал кулаки к груди, даже зажмурился от горестного протеста.

— Василь Андреич, маманя... о руб-

лях?! О планиде она... А председатель не понимает. Выгнал вчера, выгнал сегодня: «У меня, говорит, страда на носу, а ты ко мне со своей планидой!»

— Вот что... — Жариков внимательно присмотрелся к парню, приметил, как на его скулах под коричневой кожей, катаются желваки, и неожиданно спокойно распорядился:

— Дойди до мастерских, досмотри, как там с жаткой для второго звена. А то они до морковкина заговенья проволыняют. Дойди. А я обмозгую твою планиду. Еще неизвестно, из какого она материала...

Дом Кочетковых чуть не на окраине деревни, невдалеке от берега крутойрой Ини. Да и не дом вовсе, а простенькая изба под старой тесовой крышей с прозеленью мха в пазах. От калитки до крылечка дорожка усыпана песком, а вся ограда, — вся как есть, — поросла желтоголовой ромашкой.

Жариков усмехнулся: хозяева называются. Огород с рукавицу, а полисадник чуть не в три сотки и все береза, черемуха, акация. Будто и смотрится ладно, но зачем же земле пустовать? И раньше Жариков бывал здесь, но как-то не примечал такой нерадивости...

Прошагал тропкой, до выскобленных до желтизны приступок, стукнул кованой щеколдой. Ответил знакомый женский голос:

— Входи, кто там? Не заперто.

В дверях появилась сухощавая Анна Акимовна с густой сединой в темных волосах. Часто виделся с ней бригадир, а вот так, по-домашнему, чуть ли не впервые. Пахло из сеней парным молоком и домашними щами, вениками, сухими духовитыми травами. Анна Акимовна отчего-то смутилась, от улыбки резче обозначились частые морщинки у глаз. Торопясь, заговорила:

— Василь Андреевич? Вот не чаяла... Со стиркой закопошилась. Проходи, милости прошу...

Но тут же схватилась за горло:

— Неуж Миша что натворил?!

Жариков кинул кепку на лавку, бочком присел.

— Натворил, нет ли, а разговор трется...

В избе не богато. Несколько стульев, стол под зеленоватой скатертью, этажерка с книгами, небольшой приемник на тумбочке. На дверях в горницу цветастые шторы.

Анна Акимовна насторожилась, сжалась вся, будто даже росточком меньше стала, и только силилась улыбнуться чуть не просительно.

— Так что же он, Василий Андреевич?

А Жариков все не мог сыскать первого подходящего слова. Самого главного. По его молчаливому жесту вышли в палисадник. Сели на низкую скамейку. Вокруг в вечернем закате тихо гасли кусты черемухи, березы. Были здесь и две небольшие сосенки. Их макушки, как свечи, смотрелись в синее небо.

Солнце скатывалось за Иней, в заливные луга, теперь уже пожухлые. Небо над закраиной лугов тускло. Прямо перед Жариковым и Анной густая черемуха. В осенней окраске — оранжевые, янтарные листья ее в какой-то миг солнцезаката вдруг вспыхнули так весело, так пламенно, даже у Жарикова захолонуло под сердцем, а отчего, — он бы не сумел выразить.

Зато Анна обеспокоенно привстала, посветлела взглядом.

— Где же сынка? Он так этими минутами дорожит, когда сквозь листочки землю видно.

— Красотища, конечно... — неспешно согласился Жариков. Он осторожно притянул Анну Акимовну за локоть, усадил рядом. — Что говорить: красота неописанная. Живи, дыши. А вот для Мишуки твоего все трын-трава. В город он нацелился, Акимовна. Планида, говорит.

— В город? — не удивилась Анна. — А как же, Андреич? Непременно в город. Я ему все, что требуется изговорила.

Жариков чуть склонил голову направо, чуть налево, сухие обветренные губы выпятил. Все не мог до самого корня докопаться, в этом смысле и сказал:

— В толк не возьму, Акимовна. Только без души, без силы в костях можно рвануть с земли, которая вспоила, вскормила... Ты же сама от века на этой земле. Муж у тебя первым трактористом был до войны... Разве же такое забывается?

Анна Акимовна всплеснула руками.

— Миша да чтобы... чтобы землю свою позабыл?! Да он весь у меня ну как... как... песня родимая. Рисует он, Василий Андреевич, с самого сызмальства. И таится с этим от людей. Неумеха я, говорит. Вон, погляди, Андреевич, тропка

эт ворот до крылечка... Чего хитрого в ней? Песочек, по обочинам ромашка. А Мишенька разов десять, а то и двадцать ее срисовывал и только потом показал мне. Ведь совсем как живое у него вышло, как живое! Я теперь иду по этой тропке, как по картинке по его... Или вот зарежье он все рисует как вот сейчас — на закате, и на утренней зорьке... Да ты погоди малость, Василий Андреевич, я тебе такое покажу...

Анна Акимовна по-молодому быстро, легким шагом вернулась из избы, развернула чистое полотно и подала Жарикову небольшой картон. Только руки у нее чуть дрогнули да глаза стали светлыми и влажными.

— Глянь, Андрееч...

Жариков все еще недоуменно принял из рук Анны Акимовны небольшую картинку, чуть всмотрелся и даже на миг прикрыл глаза. Он сразу узнал это место. Сразу.

— Каменный бродик?! — Негромко выговорил он — Анна, это же каменный бродик!

Анна не ответила, только коротко счастливо передохнула. А Жариков неотрывно, завороченно смотрел на крутой изгиб мелководной Каменушки с солнечными бликами на гребешках волн. За речушкой сразу же горбилась Заячья грива, за которую стекало синее-синее небо. И такое оно было бездонное, такое близкое, совсем как бывало в полузабытом детстве, когда закатывал штаны до колен и в серебряных брызгах вскачь припускал через перекат.

Именно на этом самом месте у Каменного бродика Васяка Жариков давным-давно поймал первую свою рыбешку на самодельный крючок. Тогда небо тоже было, помнится, синим. А теперь почему-то давно уже не замечал ни Каменушки, ни Заячьей гривы, ни

неба. Что такое с человеком случается?

В несмелых красках картины угадывалась осенняя грустинка, сходная с негромкой проголодной бабьей песней. Дорога не обрывалась на берегу, а виднелась и под водой, по узким вмятинам от кованых тележных колес. Редкие камышинки течением пригибало к гребешкам перекатной волны. Алели два цветка «татарского мыла».

— Ну, Анна... — потерянно произнес Жариков. — Ну, Анна...

Женщина рывком подалась к нему — с вновь засветившимися глазами, раскрытыми узкими ладонями, приподнятыми узкими плечами:

— Василий Андреевич... ты сказал...

Жариков передал картонный квадратик хозяйке, будто между прочим сказал:

— Заверни в рукотер, как следует быть. Попортить можно.

Анна Акимовна снова:

— Ты сказал, Василий Андреевич... Значит, отпустишь Мишеньку?

Жариков только кивнул.

— А председатель? Он ведь слово до себя не допускает...

Жариков встал, сильно, как уже давно не делал, вытянулся и, ревниво следя, как Анна Акимовна завертывает в полотно картонку, сказал:

— И у председателя глаза не на затылке. Председатель тоже не из дерева, и ему наиважнее всего, кто каким духом над своей землей дышит... Которая хлеб родит.

Пошел, у калитки обернулся.

— Анна, ты сейчас еще разок глянь, какое у Мишки небо над Каменушкск, над Заячьей гривой. Оно только у нас такое. Синее...

Шел усталой шаркающей походкой к правлению, складывая заранее про себя разговор с председателем.

ДВОЕ В НОЧИ

Ирина Шведова в колхозе «Заря» на добром счету. Спорая в своем нелегком шоферском деле и правда, как говаривали, с чудинкой. Иной день распоеется с утра, никакая лихая дороженька попе-

рек ее песням не станет, а в другой раз и полслова из нее не вытянешь. И еще, бывало, так на тебя глянет своими карими глазницами из-под темных прямых бровей, — в старое-то время, да

кто потрусливей, непременно бы осенил себя крестным знамением. Но и теперь кое-кого из парней в оторопь кидало от такого взгляда. И от песен ее тоже.

А сегодня Шведовой не пелось.

В этот поздний час, посреди пустынной полевой дороги с выветренными березовыми колочками по сторонам она почти не замечала пожилого мужчину, что сидел справа в кабине и молчал. Зато все чаще Ирина поглядывала в открытое боковое окно и все настойчивее жала на газ, хотя двигатель и так старался на совесть. Ей ли не знать повадки предосенней погодушки, ей ли неведомо, какое коленце может выкинуть вон та с медленно вспухающими закраинами тучка. До центральной усадьбы никак не меньше двадцати километров, а впереди еще самый растреклятый, самый провалный Крутой овраг. Не проскочишь его, пока тучка не разразится шквальным проливным, и загорай тут на здоровье до морковкина заговенья. И проскочили бы за милую душу и Крутой и вынырнули бы из-под проливного, не прокопайся на инкубаторной станции этот вот молчаливый зоотехник Николай Петрович. Кепочка с пупочкой только что лысину прикрывает, плащик из модных, с капюшоном, желтые ботиночки. Шведова иронически поводит узкими плечами: вот рванет дождь, да сядем в Крутом, будут тебе, Николай Петрович, желтые ботиночки. Сейчас молчит, а на инкубаторной станции вон как зубасто разговаривал с работницами: чтобы ни одного хилого цыпленочка, ни одного лишнего петушка! А кто их разберет в таком чутошном возрасте: петушок он или курочка? Смешно даже... Ирина улыбнулась, припомнив, как зоотехник, сосредоточенно брал желтоватого крохотного птенца, умащивал на ладони, потом касался пальцем его глупого носика и голько тогда, не без колебаний, опускал в ящик. Принимал. Вот и допринимался. Сейчас в кузове накрытые брезентом десятки таких ящиков, и в каждом многие десятки только что проклюнувшихся коротеньких жизней. Это их первое путешествие по огромной земле и еще неизвестно, как оно завершится, — дожда то ведь все равно не миновать. Дорога в один момент осклизнет, резина лысая да еще на привесок — Крутой овраг... С машины тоже больше чем положено не спросишь и раздражения на

ней не выместишь. И на зоотехнике не выместишь. На цыплятах — тем более. В какое-то, наверное, судьбой определенное время дождь, овраг и машина должны оказаться в одной точке. Это она сердцем предугадывала. Предугадывала и все больше раздражалась. Сама-то себя она сейчас не видела и даже не думала, какая она, если посмотреть со стороны. Загорелые маленькие руки с засученными по локоть рукавами старенькой рабочей куртки чутко, волево отзываются на каждое подрагивание баранки, чуть скуластое, чуть курносое лицо напряженно приподнято, верхняя губа прикушена. Со стороны-то, в свои двадцать лет, она — девчушка девчушкой. Только под крутыми надбровьями карие строговатые глаза будто нацелены в одну, им ведомую, точку.

Наконец-то, и это немного разрядило напряжение, на дороге пепельными фонтанчиками вспыхнула пыль от первых шрапнельных дождевых капель. Косо ударили капли и по ветровому стеклу. Ветерок северо-восточный, из «гнилого угла». Ладно, Ира Шведова, чему быть, того не миновать — дожда и Крутого оврага, — возникни даже по бортам машины фантастические лебединые крылья, или окажи хотя бы видимость озабоченности Николай Петрович.

Но что бы она ни думала о зоотехнике, о его чистеньких пока полуботиночках, о его внешней невозмутимости, а ведь у человека свои хозяйские хлопоты. Бессловесные, но точно определенные. Ливень-то разгуливается нешуточный. Брезент над кузовом провиснет и непременно промокнет, а много ли цыплятам надо? Остынут. И что он, зоотехник, тогда для своей птицефермы, для людей? А тут еще этот Крутой овраг и... эта девчурка за баранкой. Будь на ее месте парень или зрелый мужчина — половину забот с плеч. Хватка у девчурки, правда, добрая, вишь, прямо в струнку вытянулась, словно летит сквозь мутный дождь. А все равно девчурка.

Ира уже плохо слышит двигатель сквозь шквальный ливень, «дворник» почти не справляется с потоками воды по стеклу, все ее внимание теперь каждой скользкой выбоинке на дороге, но мысленно она уже впереди, за два-три километра, на самом краю Крутого. И тут она нечаянно поймала на себе во-

прошающий взгляд зоотехника и разгадала даже на его коричневом крестьянском лице что-то похожее на обнадеживающую полуулыбку. И снова они встретились взглядами, словно спросили друг друга: — Стерпим? Одолеем?

Стерпеть они могли каждый в одиночку, а одолеть — едва ли.

Ударила впереди ветвистая ломкая молния, и в ее мгновенно-синем свете совсем неподалеку четко обозначилась темная закраина Крутого.

Спуск. Под ложечкой такое, как будто ты взлетела на качелях в самую вышину и будто тебя уже потянуло вниз — секундный терпкий холодок коснулся тебя и какая-то злющая отрешенность: давай сюда этот чертячий спуск!

На первых трех-четырех десятках метров двигателю будет легче легкого, но после скачка на противоположный скат... Тогда важно в какое-то точно угаданное время-безвременье точно поддать газу, поддержать инерцию...

Ага. Машину встряхнуло. Это задний мост выскочил из галечного русла ручья. Теперь еще газку, еще немного... Ну же!.. Ну... Но ни подсос, ни первая передача уже ничего не могли поделать. Машина с великим трудом одолела еще полтора-два метра, дрогнула и медленно, кособочась, стала сползать назад. Все назад и все быстрее, пока снова не дрогнула и не стала как зкопанная в самом русле ручья. Да и как-ры это теперь ручей — это всамделишная сумасшедшая речонка! Глаза бы на нее не глядели. Ира выключила зажигание, для верности давнула на тормоз. И сразу в ушах зазвенело не то от тишины, не то от вновь ударившего просторного грома. От этой звенящей пустоты почти слабость разлилась от кистей рук до самых плеч.

— Приехали!... — сказала она хриловато, чуть не мальчишеским баском.

— И я это заметил, — с неожиданной живостью отозвался зоотехник. — Чуток не по расписанию, и прибыли не к месту назначения. Си-ту-ация, доложу я вам...

— Некому докладывать!... — чуть не шепотом огрызнулась Шведова.

Зоотехник кивнул.

— Я к слову, Ирина Афанасьевна. Я о наших пассажирах. Больно хлипкая публика, — он неторопливо открыл дверку, сказал шепеляво, как при зубной боли. — Пресвятая дева троеручица, се-

мистральная владычица... — и неловко, куль-кулем, вывалился из кабины, но дверку успел прихлопнуть. И Шведовой мельком, хотя и с некоторым облегчением подумалось:

— Какой ни есть, а мужчина. Мужик.

Потом через заднее оконце разглядела, как он, цепляясь за мокрые борта машины, приподымал то один, то другой угол брезента, вернулся и озабоченно спросил:

— Топорик у нас имеется?

— Немудрячий.

— Нам, девонька, недосуг мудрить.

Принял топорик, опять старательно прихлопнул дверку и будто растворился в пепельном струистом сумраке.

Уж не надумал ли этот тугодум зазубренным топориком валить жиденький кустарник в овраге да гатить осклизлый склон? Вот уж, действительно, цыпушкам на посмех. Тут нужно добрых два десятка машин щебенки, а не жиденькие прутики. Но про щебенку — это она так, для мимолетного мечтания. А молнии все больше ярятся, а сквозному ливню ни конца, ни края. И серый мрак за стеклами кабины все переносимее. И дороги... Шведова даже зло фыркнула: дорога называется! Называется хозяева!

Кузов дрогнул раз, другой... Что еще там Николай Петрович удумал? А Николай Петрович, оказывается, приволок длинную березовую жердь и целое время каких-то рогутилин... Ну теперь ясно. Он долго возился, пока не закрепил рогатки у заднего борта и у кабины, а на них концами, из-под брезента, закрепил жердь. Получилось что-то вроде двускатной палатки. По-крестьянски развратлив оказался зоотехник. Но от последующего его «действия» Шведова чуть не ахнула. Николай Петрович скинул с себя модный пдащик и приладил его между жердью и передними ящиками, чтобы и здесь сырость не проникла к его «хлипкой публике». Но едва ли и такое ухищрение поможет, ливень-то упрямее и все равно свое дело сделает. Рано или поздно. Если сидеть сложа ручки и поглядывать на светящийся циферблат часов.

На тыльной крышечке часов искусный районный гравер красивой скорописью обозначил: «Ире Шведовой, ударнице коммунистического труда. В день рождения. Правление колхоза «Заря». Год прошел с той поры, а день такой до

скончания века не позабудется. Пришелся он на воскресенье, на 12 сентября. Подруги еще ночью принесли к ее окнам целые охапки полевых осенних цветов, а кто-то из местных верхолазов умудрился прикрепить на самый конек шведовской избы алый праздничный вымпел. Маманька спозаранку хлопотала в кути. И утро выдалось пронзительно ясное, небо бирюзовое становилось все бездоннее и смотрелось в него бесстрашно, песенно. И уж попелось-то, ох, попелось в тот день... А еще припомнилось: сторож в правлении, здороваясь, торжественно приподнял над своей лысиной кожаный картуз блином и чуть не пропел:

— С днем ангела, ударница!

Бухгалтер, глянув поверх очков на шофера-девичурку, сбросил со счетов костяшки, привстал, взял в обе ладони руку Иры, как-то смешно избоченился, нагнулся и вдруг поцеловал эту руку чуть выше запястья.

— Дядя Петя!.. — тихонько охнула Шведова.

— Полагается! — наставительно произнес дядя Петя и кивнул на председательский кабинет. — Заходи. Ждет.

Ай, хорошо жить среди своих людей, когда есть кому протянуть руку, когда есть кому о тебе позаботиться. А вот как быть в одиночку? Но почему в одиночку? Николай-то Петрович снова в кабине, рядом. Теперь он в одном пиджачке и, успев основательно промокнуть, зябко, коротенько поводит плечами. Снова молчит. А что он еще может? А что может она — руками дождь развести? Но и сидеть вот так в густом мутном сумраке, под разверстыми небесными хлябями... Сказала:

— И ноги, небось, промокли? Я выйду на полчаса... Не заботитесь в одиночку?

Тот отозвался более чем скупое:

— Помру. Идите.

Чуть не обиделась. Видишь с каким гонором: «Помру. Идите». А как она пойдет в этот косой, пахнущий снегом ливень — об этом он спросил?

Выдернула ключ из замка и почти выскочила из кабины. Ма-амонька... По лицу, по рукам ударили злые секущие струи, ноги по щиколотку — в тугой грязи. Шаг, еще шаг в сторону и она уже, действительно, одна посреди всей несусветной ночи. Какими словами потом расскажешь об этом мгновенном

чувстве одиночества, да и расскажешь ли? Но это только до первого шага вверх по крутому подъему, а потом было уже не до одиночества. Еле отдышавшись на травянистом краю оврага и напрягая зрение, попробовала определиться. Почудилось, что на самом деле различила вдалеке зазубренную каемку леса, а над ним даже клочок мутного неба. Почудилось, наверное... Да и слева это от дороги, а Иринке нужно взять сразу же круто вправо. В километре с небольшим должен быть небольшой березовый колочек, а на опушке вагончик тракторного звена. Неужели и здесь не повезет?

По стерне и в ведро-то днем белым шагать мало удовольствия, а сейчас и слова никакого не подберешь, что это за напасть такая выдалась... Еще в овраге, и шагу не сделав от машины, она успела промокнуть до нитки и теперь уже никакой потоп ей не страшен.

И лесочек, и вагон, и трактор — черная жужелица — рядом с ними, возникли, как во сне. Стукнула в дверки вагончика — хоть бы чихнул кто в ответ. Наощупь определила: дверная щеколда закручена проволокой, а остальное определить не так трудно: звено в полном составе изволит почивать в деревне, в сухих мягких постельках. На здоровьечко. А как с трактором? Обследовала машину и чуть не разревелась, обнаружив под сидением водителя шнур от пускателя. Молодчина водитель. Прекрасный растяпа. Привет тебе, добрый молодец, воздушный поцелуй от незнакомки и легкого адмвызисания!

Только успела сползти в овраг и вернуться на сто восемьдесят, как из темноты будто выпорхнул на полях мокрого пиджачка Николай Петрович. Его щегольских желтых ботиночек теперь и не знатко, да и брючки-то по колени в грязи.

— Ирина Афанасьевна! — запричитал он восторженно. — Прямо как по щучьему велению...

— По щипальческому хотению! — отозвалась Шведова, принимаясь раскручивать трос с тракторного барабана.

Николай Петрович все приплясывал в грязи, все объяснял:

— Струхнул, знаете, не на шутку. С одной стороны водитель канул, дымом изошел, с другой ночь, с третьей — цыпшек жалковато, независимо от материального ущерба...

Нацепив металлическую петлю на крюк своей машины, Шведова распря-милась.

— В машине соображаете, Николай Петрович?

— Я? — очень удивился тот. — Да, бо-же мой, ни в зуб ногой!

— Ногой не надо, Николай Петрович, надо руками. Я потяну вас на тракторе, а вы за баранкой...

— Я?.. Опрокинусь!

— На здоровье. Поведет передок ма-шины вправо, вы тихонько выкручи-вайте налево и — наоборот. Ногами не сучите: можете тормознуть, трос обор-вете. Понятно?

— Опрокинусь.

— А цыпушки? Садитесь.

Взявшись за тракторные рычаги, Ирина даже сплунула по-мальчишески. Дожить в наше время до сорока-сорока пяти и не уметь подправлять баранкой машину на буксире, да над таким те-перь даже в детском садике развеселят-ся. «Опрокинусь!..»

Выжав сцепление, легонько прибави-ла обороты. Почувствовала, как трос позади натянулся... Еще газку. Трос теперь напрягся еще туже... Поехали.

Из оврага выползли благополучно, но потом дорога пошла какими-то попе-речными рытвинами, и здесь Николай Петрович основательно растерялся. Ко-гда ему показалось, что машина зиль-нула левее тракторного следа, он до-вернул баранку вправо, но не тут-то было, машина и ухом не повела, ее все волокло влево, все влево, пока она юзом не поползла за гудевшим от напряже-ния тросом. А потом, словно сама со-бой, выправилась. Но только на корот-кую минуту. Теперь пришлось крутить баранку влево! И та же самая карти-на: машина вернулась на тракторную колею, когда ей захотелось. И спина и ладони взмокли. Ирина тоже чувствова-ла, как маятся зоотехник позади, но что она могла поделать, шоферские курсы открывать посреди этой несуразной до-роги! Порвут вот машину, тогда с кого спрашивать: с человека со средним зоо-техническим образованием? Ответит од-но: — «Я же не опрокинулся!» А трак-тор просто любо-дорого, да к такому прицепи хоть трех зоотехников — не крикнут, потянет. Видать, в добрых ру-ках машина, а, может, и в молодых. Жалко, если завтра по этим молодым

ручкам как следует ударят. Ничего хит-рого, если даже и ударят.

Ага, впереди и правее явственно обо-значилось желтоватое свечение. Первый огонек. И еще второй, и третий... Дерев-ня. Климовка. Дом, к которому люди могут запросто принести цветы, на ко-нек которого могут вскинуть праздни-чный вымпел. Разве сыщешь на самой солнечной земле место роднее такой вот притихшей, дождливой Климовки. Что за чудо увидеть в ненастье ее желто-ватые, приветные, такие родные згни?!

Но как же ты устала, Ирка... У некра-шенных тесовых ворот птичника сброси-ла газ, разжала пальцы на рукоятках, и руки сами собой упали на холодный дермантин сиденья.

Их ждали. С крылечка конторки к машине бегом кинулись трое или четве-ро птичник, заведующий фермой Сер-гей Сергеевич — прямо к трактору.

— Ира, ты? Вот лихо!

— Дальше некуда, дядя Сергей...

— На то и Шведова! Я кликну кого-нибудь из парней трактор отогнать...

— Не надо парней, дядя Сергей, уп-равлюсь... Трос отцепите.

Сквозь приглушенный рокот двигате-ля ей словно бы послышалось до жа-лости слабенькое попискивание цыпу-шек и заботливое бормотание зоотехни-ка. И снова двинула машину в темь, в дождь, в слепой ветер.

Трактор у пустого вагончика постара-лась поставить тютелька в тютельку, как стоял, но в последнюю минуту все же не стерпела, созоровала: шнур от пускателя аккуратненько свернула кара-лечкой, а в середину каралечки петель-кой продернула конец, очень походив-ший на кукиш. Поймет наемк хозяин трактора? Вот бы здорово!

На опушке, у самой кромки пахоты она поискала полевую дорожку и, на-конец-то, еле обнаружила. Только ветер почему-то теперь переменялся и заду-вал не слева, как прежде, а справа, и еще дождь немного поутих. Да и то сказать, довольно он за весь вечер и доб-рую часть ночи хлестал, пора и уняться. И неказистая дорожка тоже кстати при-годилась, а то пахотой-то больно было бы убрдно.

Шла, шла, может, пятнадцать, может, тридцать минут, — разве разглядишь, который теперь час, которая минута. И не в минутах дело — кто их сочтет — большак куда-то как сквозь землю про-

валился... Но она все равно дойдет, она должна дойти до большака, до Климошки, до того крылечка, с которого уже можно крикнуть: — Мама, не горюй! Я — вот она!..

Шла. Только все чаще приходилось, как из-под кнута заставляя себя передвигать ноги — тяжеленные, почти онемевшие по колено.

И вдруг остановилась, будто грудью уперлась во что-то неоходимое, и от этого, плохо еще осознанного, даже в глазах поплыли синие расплывчатые пятна. К черту пятна. Прямо перед ней — протяни руку — грузный, молчаливый трактор. Тот самый. А чуть поодаль — вагончик. Тот самый.

Вагончик! Только бы достало силенок приткнуться к нему, раскрутить проволоку, распахнуть двери, а там — ни ветра, ни дождя... И дождь, как на посмеях, снова да опять хлещет как из пожарной кишки. Минуту-другую тешила себя такой простенькой надеждой, а глаза ее, будто сами собой, делали свое дело: пристально, по-крестьянски цепко высматривали опушку березняка, что неясно проглядывался невдалеке... Березовый колочек вытянут с восхода на не видимую теперь вечернюю звезду, и самой оконечностью он показывает прямо на далекую Климовку. Это пытанно-испытано не одну сотню раз еще с самых босоногих времен. И о вагончике она больше даже и не подумала, а просто пошла, — не дорогой-петлей, а той самой опушкой. Когда же опушка кончилась — зашагала по живой убродистой пахоте. Когда березняк остался позади, особо злой толчок ветра сорвал с головы мокрый берет и кинул в ночную прорву, волосы сразу упали на лицо, на глаза, а убрать — руки уже не подымались. Руки, которые, кажется, совсем недавно так празднично и неловко поцеловал сам главный бухгалтер колхоза «Заря» — на них теперь, наверное, страшновато и посмотреть. Придет же такое в голову в самый момент, когда, кажется, ложись в сырую черную борозду и закрывай глаза.

...Потом она сидела на какой-то непроборонованной кочке, обхватив колени руками, уронив на них голову. Кому какое дело, если ей необходимо отдохнуть, дух перевести. Вот и сидит и сидеть будет, и спрашивать разрешения на это ни у кого не собирается, пусть

здесь появится даже сам председатель правления.

— Мама, не горюй, я — вот она!

Вот видишь, как может человеку помститься — наяву, во сне ли, будто и на самом деле она подымается на первую, на вторую ступеньку своего крылечка и будто так кричит в отверенные сенцы. Шевелить не хотелось — ни рукой, ни ногой, ни единым пальцем. Сидела, сложа живишь второе, подставив узенькую спину и ветру и дождю, — кто кого пересилит.

И только так подумала-погоревала, как на том же кругу будто жиденькое эхо отозвалось совсем неподалеку.

— Шве-е-до-ва-а!..

Опять помстилось? Ну, дела... С трудом подняла голову.

— Шве-е-до-ва-а!..

Нет, не эхо — живой, настоящий голос! И неподалеку жиденький всплеск огонька. Фонарик! Послышалось чваканье жидкой земли, и свет кинулся прямо в лицо. Кинулся в лицо, обежал ее всю, уперся в землю.

— Вот ты где, Ира, — негромко сказал Николай Петрович. — А мы судили-рядили: куда подевалась?

— Еще чего... — хриповато отозвалась Шведова.

...— прихватили с Сергей Сергеем кое-кого на ферме да в клубе — кто припозднился за милованием и — от покотины, фронтом, на тракторный стан.

— Еще чего!..

— Как чего? — он взмахнул фонариком и опустил, голос его немного пфосно приподнялся: — Если человека вдруг нету — это как?!

Шведова не ответила. Она разглядела ноги Николая Петровича — нагие, толстые, с подвернутыми до колен штанинами. Спросила:

— Как же вы, Николай Петрович?

Он, видно, понял, неловко, стеснительно так переступил.

— Это-то... да кто знает. Шнурки видно, полопались, вот обувка где-то и поуязла. По весне-то здесь непременно должен быть урожай на желтые ботиночки... Подымайся, Ира, пойдем. Я только знак подам, которые в поле.

Повернулся, опять взмахнул слабым фонариком и «возблаговестил» каким-то утренним, посвежевшим голосом:

— Лю-ю-ди-и... здесь... здесь мы-ы!..



Поэт Вячеслав Кузнецов в составе делегации ленинградских писателей принимал участие в проведении дней литературы Ленинграда в Кузбассе весной 1971 года.

Стихи Вячеслава Кузнецова, которые мы публикуем, родились в результате полученных им впечатлений на нашей Кузнецкой земле.

Ты меня не мучай,
 не томи.
Где-нибудь да встретимся на Томи!..
Где-нибудь да встретимся
 на Оби.

Ты меня,
 нескладного,
полюби.
А меня не спрашивай,
 я люблю ль.

И зимой
по венам бежит июль!..
Над мечтами,
 над снами
стоит тайга.
Прямо в душу —
 твоими глазами —
глядит кабарга.
Ах, какие зеленые —
 словно звезды

глаза...
Над Сибирью
аукают голоса.
Ах, какие далекие звезды
и как чисты!..
А в душе моей —
ветер.
На ветру —
костры.
...Где-нибудь да встретимся на Томи.
Только ты меня не мучай,
не томи.
Не придумывай.
Есть простые слова:
мол, сама жива,
и любовь жива.

Лепились дома и домишки
в излучке каждой реки,
словно кедровые шишки
в могучей кроне тайги.
Поселки и деревеньки,
остроги и города...
На медные, кровные деньги
строились вы навсегда.
Силу, что топь месила,
удаль вашу
и стать
лишь мать одна — Россия —

способна была постигать.
Дикий, угрюмый Север,
безлюдье,
таежный мрак
вашу страсть не рассеяли,
а выпестовали
на ветрах!..
...Стоят
и не могут не нравиться —
ими Земля горда! —
богатыри-красавцы
сибирские города.



Мир — ярок,
яроsten,
студен и молод;
он с поволокой, в грозах и кострах.
И зной пустынь, и заполярный холод
нам ведомы...
Мы тут давно в гостях.
Мы знаем запах неба,
цену хлеба,

крутой отвар прогорклой лебеды.
В бодрячестве нас упрекать нелепо,
мы побывали
в лапах у беды.
Живем взахлеб,
размашисто и строго,
и на ветру
колокола рубях.
И солью звезд посыпана дорога.
Солоноватый привкус на губах.



Пойду в последний раз на почту,
а дальше — «застегнуть ремни!»
Взревут моторы в час полночный,
и поплывут в туман огни.
И шар земной, седой и грузный,
повиснет в хмари,
под крылом.
И отчего-то станет грустно
мне в полумраке неземном.
Не потому, что нету писем,
а дни тревожны и круты,
не оттого, что так зависим

я от любви
и доброты.
А как-то все само собою
сложилось в жизни у меня:
делюсь с людьми своей судьбою,
не обольщая,
не маня.
И все,
что в памяти хранится,
вдруг вскрыто —
словно бы ножом!..
...Я знаю сам: души частица
осталась в городе чужом.

З. Н. Е.

13 сентября 1921 года, когда завершились работы на строительстве железной дороги от Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий) до Прокопьевско-Киселевского месторождения угля, было ликвидировано руководившее стройкой Бачатское районное бюро РКП(б). Партийных работников направили во вновь созданный на правах уездного комитета Прокопьевский райком РКП(б), а издававшуюся в Бачатах газету райбюро и политотдела трудовых войск «Трудовой фронт» и ее типографию перевели в другой промышленный город Кузбасса — Кольчугино.

Редакция «Трудового фронта» во главе с редактором Василием Степановичем Усовым, типографские работники Николай Радионов, Иван Антропов, Александр Никифоров, Иван Задорин, Николай Миронов и другие быстро справились с переездом на новое место. Один из старейших полиграфистов Кузбасса Александр Ев-

Среди великого множества профессий, занятий, ремесел, увлечений, поручений, обязанностей, когда труд одного человека становится достоянием многих, у каждого есть свое, особое дело, в котором он — царь и бог.

Кто это дело вовремя распознал и накрепко связал с ним свои шаги, тот, несомненно, счастлив. Но сколько таких, кто с ним так и не встретился, кто лишь смутно угадывает его в несбывшемся, тоскует о нем и ищет! Жизнь такого человека мучительна и сложна. Работа ему постыла. И плохо от этого еще многим-многим людям, к драме его совершенно не причастным.

Я хочу рассказать о заместителе ответственного секретаря газеты, о профессии в профессии, о тонком, искусном, деликатном занятии, которое представляется мне самым строжим на широкой реке журналистских интересов... О деле, которое я любил и, говорят, пользовался взаимностью. Об этой десятилетней страсти, которая случайно возникла и совершенно закономерно кончилась.

Я вхожу в немое двухэтажное здание, притаившееся под сенью могучих тополей. Немое, потому что покинутое, потому что вынули из него стук телетайпов и пишущих машинок, деловитый, металлический лязг и шум газетного цеха, запах типографской краски, шаги по лестнице и голоса в коридоре. Бывшее помещение редакции напоминает сейчас пустую раковину, ненужную, сброшенную оболочку куда-то ушедшего тела. Организация, которой здание досталось по наследству, им еще вплотную не заинтересовалась, поэтому стоит оно одинокое, незаслуженно быстро забытое... Лишь вахтер внизу — как последняя реликвия и как последняя надежда на то, что жизнь сюда вернется. Но это уже будет другая жизнь с другими интересами, другими традициями, другими целями.

А прежняя переехала. Была упакована в бумажные мешки и деревянные ящики, погружена в кузова машин и бережно вывезена, чтобы прописаться в новом пятиэтажном красавце доме на одном из шумных, сжигленных городских перекрестков.

Я иду уютным, нешироким коридором. Двери бывших отделов открыты, на полу кучи оставленного бумажного хлама. Шаги мои гулко звучат в пустом здании, каждый из них отдается воспоминанием. Здесь отзвучала целая газетная эпоха. Здесь — моя молодость.

А вот и он, до боли знакомый кабинет. С удивлением думаю, как же в этой маленькой комнатке поме-

Геннадий Юров

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ

шалось четыре человека, да еще фототека художника, да еще добрый десяток посетителей?

Секретариат... Сердце редакции...

II

Когда вы читаете или просто просматриваете газету, то конечно же обращаете внимание на авторов заинтересовавших вас материалов. Многие фамилии вам запоминаются, со временем становятся любимыми. Но вряд ли вы думаете о человеке, который именно так, а не иначе преподнес вам эти материалы на полосе, делил наиболее значительные, оформил их рубриками и заголовками.

Будучи еще школьником, я любопытствовал, как это получается, что газетная страница заполняется целиком, не оставляя белых пятен, что статьи и заметки ложатся точно в отведенное им место, не претендуя на жилплощадь соседей, и при этом входят полностью. Но уже тогда интерес этот был не чисто читательский, а почти профессиональный, поскольку был я постоянным членом редколлегий классных и школьных стенгазет.

В студенческие годы я часто приходил в редакцию многотиражки Томского университета и, забившись в угол потертого и обшарпанного дивана, наблюдал за Борисом, секретарем газеты. Добродушный толстяк с живым блестящим умом, умеющий быть в курсе всего происходящего в университете, в городе, в стране, в мире, сыплющий тонкими и едкими остротами, он оживленно действовал за столом с металлической линейкой, а я смотрел на него и думал — вот настоящий журналист.

Так оно и было на самом деле. Через полтора десятка лет, став коллегой и товарищем Бориса, я уже ничего не могу поделаться с чувством благоговения перед ним. Борис отчасти виноват в том, что любой человек, владеющий секретарской линейкой, становился для меня полубогом, причастным к таинству рождения газеты. Ну а писать, поставлять материал полубогу — это могут, казалось, многие.

И вот однажды — это было в газете «Комсомолец Кузбасса» — меня вызвал редактор и сказал:

— Придется поработать в секретариате. Павел Иванович замаялся — время-то отпускное.

— Я же не умею!

— Научишься. Газетчик должен уметь все.

ГАЗЕТЕ
«КУЗБАСС» —
50 ЛЕТ

геневич Никифоров, работавший до «Трудового фронта» в томской типографии «Сибирского товарищества печатного дела», вспоминает: «В Кольчугине типография помещалась в одноэтажном деревянном помещении на берегу реки Инь по улице Советской, в доме бывшего местного богача Ольховского. Типография, конечно, была оборудована очень плохо. Имела одну плоскостатную машину-пятилистку. На новом месте, т. е. в Кольчугине, мы решили газету называть по-иному. Долго придумывали название. Остановились было на «Шахтере», но потом кто-то предложил назвать газету «Кузбассом». Так и сделали».

Первый номер «Кузбасса» и вышел в поселке Кольчугино 7 января 1922 года. Редактировал ее бывший редактор «Трудового фронта» В. С. Усов. Работники типографии и редакции любили его за трудолюбие, порядочность. Но он вскоре заболел сып-

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

ным тифом и 4 мая того же года умер. После него редактором газеты стал Александр Огурцов. Три года издавался «Кузбасс» в Кольчугине. Тираж его составлял 700—1000 экземпляров и, кроме Кольчугина, рассылался в Гурьевск, Прокопьевск и Щегловск.

В обзоре печати Томского губкома партии 28 июня 1923 года сообщалось:

«Кузбасс» — орган Ленинского райкома РКП(б), райкома ВСГ (Всероссийский союз горнорабочих), рудисполкома и рудоуправления. По внешнему виду «Кузбасс» сразу производит хорошее впечатление. Выходит ежедневно. Имеет постоянные отделы: «Отовсюду», «На руднике», «По району», часто — «В деревне», «Наука и техника», «Уголок матери и ребенка», «Хроника». Много места отводится отчетам с собраний, пленумов. Передачи написаны кратко, сжато и большей частью посвящены вопросам местной жизни.

На инструктаж у Павла Ивановича ушло минут десять. Он взял линейку, показал, где на ней особые единицы измерения — квадраты и пункты и как определять количество строк на гранках. Потом в оханке принес груды материалов и фотоснимков, бросил на стол:

— Вычитывай! Абзацы не забывай расставлять, а то линотиписты не примут. Ну, а я пошел...

— Как пошел? — возмущился я.

— А так, у меня отгул.

И ушел. И оставил меня наедине с номером. Позже я узнал, что не от черствости души он так поступил. И не из желания сделать мне плохо. Сам он овладевал секретарской наукой точно так же: ответственный секретарь Владимир Михайлович вручил ему линейку и заявил: «Ну, а я пошел». А с ответственным так обошелся его предшественник. Традиция! Считалось, пусть с первого дня новичок познает все закоулки газетной кухни. Сам разберется. Если справится — будет секретарь.

Я вышел из редакции за полночь. Деревья шумели, как линотипы. Телевышка вдали, обозначенная редкими фонариками, высилась, как колонка черной непарели на два квадрата. Луна не вписывалась в разрыв облаков, и ее захотелось скадрировать. Из ближайшей подворотни на меня высочила веселая собака и облаяла нетактично и оскорбительно.

— Абзац! Абзац! — завопил я.

От неожиданности собака остолбенела. Несколько секунд она вопросительно и жалобно смотрела на меня, потом развернулась и, поскуливая, помчалась вдоль главного проспекта...

Минул год. Мне дали в помощь новичка — Юрия. Я показал ему макет, линейку, квадраты и пункты. Потом бросил на стол груды материалов и фотоснимков и заявил:

— Ну, а я пошел.

Юрий склонил свой роскошный русский чуб над макетом. Он промучился над ним до конца дня. Впереди была еще ночь. Но появился редактор и заволновался.

— Газета должна выйти во что бы то ни стало, — сказал он, отобрал линейку и начал чертить сам.

Так и не стал Юрий секретарем.

III

Длинный, пронзительный звонок в коридоре. Хлопают двери, торопливо заканчиваются деловые разговоры, ставятся последние точки в материалах, течет людской поток в сторону кабинета редактора. Планерка! Коротенькое пятнадцатиминутное заседание перед тем, как разойтись на обеденный перерыв.

На планерке я — заместитель ответственного секретаря областной партийной газеты «Кузбасс» — рассказываю своим товарищам, как будет выглядеть послезавтрашний номер. Все четыре полосы обсуждаются, дополняются, освобождаются от лишнего, пока не получают «добро» всего коллектива.

Каждая газета имеет свои традиции, складывавшиеся десятилетиями и потому незабываемые и почитаемые. Я знаю много редакций, где на планерки ходят лишь заведующие отделами и члены редколлегии. Я знаю редакции, где планерки вообще не проводятся — «зачем лишний раз отрывать людей, редколлегия сама спланирует все номера на неделю». Что ж, так здесь принято, так удобно...

И все-таки большое это дело, когда один раз в день все собираются вместе. Даже просто посмотреть друг на друга приятно, а обсудить уже вышедший номер, решить, хорошо или плохо сработали сообща — это уже просто необходимо. Руководители газеты имеют возможность сразу представить себе, кто на месте, а кто в командировке, кто чем занят.

Рядовым работникам редакции планерки дают почувствовать, что они не просто исполнители отдельных заданий, а часть большого организма, что они отвечают и за свои строчки и за строчки своего товарища.

По правде говоря, планерка — это чаще всего спор, спор горячий, заинтересованный, когда мнения бывают полярно противоположными, когда спорящие не идут на уступки друг другу. И тогда вмешивается редактор, устанавливая критерий, обязательный для всех.

Я люблю планерки. Я люблю своих товарищей. Я люблю минуту, когда они шумно заполняют кабинет, когда с шаловливой настойчивостью стремятся каждый занять свое привычное место, словно в боярской думе. Я люблю слушать, как они яро диспровергают прописные истины, всегда отстаивая высокие идеалы труда, добра и справедливости.

Принято считать, что незаменимых у нас нет. Оно, конечно, так. Есть даже шутка, что если в редакции останется один лишь секретарь — газета непременно выйдет. Но вот в чем суть: каждый работник приносит в свою отрасль личное отношение к ней, личную систему аргументов, личный интерес, основанный на глубоком знании дела. Этот личный интерес заменишь не сразу и не всегда.

Газета высказалась за крупноблочное строительство объектов промышленности. Совершенно ясная позиция. Но одной определенности мало. Позиция должна быть воинствующей. И она становится таковой, благодаря одному человеку — Александру, сотруднику промышленного отдела. Экономист по складу ума, энтузиаст по складу характера, он привлек в газету ведущих специалистов, он развернул на ее страницах наступательную кампанию, добившись крутых кардинальных решений во всех ведомствах вплоть до министерства.

Традиционная молодежная страница. Сотрудница отдела пропаганды Таисия Алексеевна вкладывает в эту страницу лучшие стороны своей натуры — душевную щедрость, открытость людям, миру, доверчивость и открытость. Читатель отзывчив. «Кто мы? Молодежь о себе» — это был один из самых ярких и содержательных разговоров в период подготовки к 50-летию Ленинского комсомола. Он завершился большой публицистической статьей. Страница составила серьезную конкуренцию областной молодежной газете.

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

Много внимания уделяет газета партийному делу и комсомолу. В целом «Кузбасс» — хорошая рабочая газета.

Многие кольчугинские шахтеры стали рабкорами своей газеты. Активно сотрудничал в ней и крепильщик Ленинской шахты молодой коммунист Федор Лубянов. Он часто выступал в газете с заметками, короткими рассказами, очерками. Когда в 1925 году «Кузбасс» стал органом Кузнецкого округа ВКП(б) и окрисполкома и начал выходить в окружном центре — городе Щегловске (ныне Кемерово), редактором газеты был утвержден 32-летний шахтер, секретарь парторганизации Ленинской шахты Федор Васильевич Лубянов. Вскоре Ф. В. Лубянов выехал на учебу в Москву в институт журналистики, после окончания которого работал в редакции Минусинской газеты «Власть труда».

Кузнецкий бассейн в балансе страны приобрел

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

ретал все большее значение. Здесь росли новые шахты, заводы. ЦК ВКП(б) постоянно держал в поле зрения деятельность одной из крупнейших окружных парт-организаций Сибири — Кузнецкую.

19 ноября 1926 года ЦК ВКП(б) принимает первое постановление специально о работе Кузнецкой парт-организации. На страницах «Кузбасса» тех дней мы часто встречаем материалы, рассказывающие о начальных шагах строительства Кузнецкого металлургического комбината, о строительстве железной дороги от Новокузнецка вглубь Горной Шории, к рудной базе Кузнецкого металлургического гиганта.

С начала 1929 года в Кузбассе было положено начало массовому социалистическому соревнованию. К 1 октября этого года на предприятиях и стройках Кузбасса насчитывалось 145 ударных бригад.

Газета «Кузбасс» была в центре этого широ-

А вот знаменитый управляющий «Пятым углом» — сатирическим отделом газеты. Он именует себя именно так, дорожа своим «инкогнито». К вопросу о том, что незаменимых у нас нет. Пробовали этого человека заменить, хотя бы на отпускное время, не получается. Помимо редкостной добросовестности, настойчивости, скрупулезности в проверке фактов, он обладает незаурядным сатирическим талантом. Маленькая замечательная «Пятого угла» порой равносильна развернутому фельетону. Управляющий все время ворчит, просит снять с него тяжелое бремя его обязанностей. Но если вдруг пойти ему навстречу, внять мольбе, он будет потрясен, уязвлен, обижен.

Личный интерес. Он выражается не в том, чтобы как можно больше взять от газеты, а в том, чтобы как можно больше ей дать. Он присущ всем работникам редакции. Если сложить воедино повседневные заботы каждого из них, то перед вами предстанет весь индустриальный Кузбасс, три кита, на которых он зиждется — уголь, металл и химия, перед вами предстанет Кузбасс спортивный, Кузбасс сельский, Кузбасс учащийся, отдыхающий, любящий. Если сложить воедино опыт и знания каждого из них, то перед вами все проблемы, которыми живет область, ее прошлое, настоящее и будущее.

Все, над чем трудятся мои товарищи, ложится в конечном счете мне на стол. Я — последняя инстанция на их пути к читателю. Я — важная инстанция, потому что от меня зависит передать в отдельном номере всю сложность и всю стройность интересов, которыми живет Кузбасс в административно-географическом понятии и газета «Кузбасс», его зеркало, его летопись, его трибуна, его совесть.

IV

Я пришел в газету вместе с большой группой молодежи, выпускников факультетов журналистики и гуманитарных вузов. Мы низвели средний возраст редакции к трем десяткам лет. Благоразумие и мудрость седовласых ветеранов редакции уравновешивали отчаянную дерзость и благородный авантюризм нас, двадцатипятилетних.

Свою работу в газете мы рассматривали как школу, как ступеньку к какой-то большой, пока неведомой нам деятельности. Мы как бы еще не взлетели, а только обретали силу для полета, и Николай Яковлевич, шеф и редактор, не мешал нашим далеко идущим планам и стремлениям. Он даже поощрял их, справедливо полагая, что человек высоких целей будет работать в газете с наибольшей отдачей.

Наверное, каждый человек, избравший творческую профессию, испытывает тоску по учителю-наставнику, который бы направил твои первые шаги. Николай Яковлевич взвалил на себя тяжелое бремя быть таковым для десятков молодых журналистов, ершистых, угловатых, неудобных, горластых, всем всегда недовольных. Он смотрит на тебя внимательно, изучающе, прикиды-

ваает, чем ты можешь быть полезен для газеты, и если решает, что полезен, принимает в свое сердце. И тогда уж возится с тобой терпеливо и любовно, не прощает проступков, но и в беде не покидает. Любит он людей талантливых, с «божьей искрой».

Этот горбоносый, сероглазый человек, сочетающий раннюю седину в волосах с юношеской стройностью фигуры — высший и беспристрастный судья наших творческих откровений. Оценка твоего материала или твоего макета на планерке в его устах звучит или как величайшая похвала, или как безжалостный приговор. Возвращая тебе второпях и халтурно написанную статью, он совершенно убивает одной фразой:

— Ну, это ты решил просто посмеяться надо мной. Забери.

Ему отпущен редкий талант направлять и корректировать мысли и строки своих товарищей. С любым материалом он обращается бережно, не жалеет времени, чтобы его поправить, дотянуть, довести до совершенства. Он всегда живо интересуется, над чем работает, чем живет каждый член редакции, заботится, чтобы не было простоев в журналистском поиске, а зачистую и сам предлагает темы, соответствующие твоим интересам, опыту, мастерству.

Он знает каждого из нас, как облупленного, и в своих отношениях с человеком апеллирует к сильным, добрым сторонам его натуры. Однажды мой товарищ Валентин не смог выполнить задания. Ему надо взять было срочное интервью у руководителя крупного предприятия. Но тот был очень занят и не принял его. Валентин доложил редактору:

— Не принял!

Редактор знает, что Валентин — человек очень самолюбивый, боящийся уступить кому-то первенство — пусть в работе, пусть в спортивном поединке. Знает он также, что Валентин — человек достаточно тактичный, чтобы это его самолюбие не пошло во вред интересам редакции. Его ответ был краток и эффектен:

— Журналист партийной газеты любую дверь в области открывает. Иди.

Валентин снова приехал на предприятие, проявил необходимую настойчивость, интервью взял.

Я заходил к редактору по многу раз на дню. Хотя бы для того, чтобы утвердить макеты. Он никогда не заставляет ждать, усилием отрывается от материала, который вычитывает, проект завтрашнего номера рассматривает с удовольствием. Он соглашается, что секретарская работа — творчество, предоставляет нам полную самостоятельность, в макеты вмешивается редко.

— Слушай, ты вот загнал статью в середину, а ее надо бы на открытие полосы.

При этом он снимает очки, которые надевает во время чтения, смотрит пристально, размышляюще. Я, немало потрудившийся именно над этим вариантом, начинаю его отстаивать.

— Нет, ты не понимаешь, — урезонивает Николай Яковлевич, снова пускаясь в терпеливые объяснения. — Даю тебе тридцать минут. Подумай.

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

ко развернувшегося патриотического движения. На ее страницах часто рассказывалось о ходе соревнования на предприятиях и в отраслях промышленности. Из «Кузбасса» тех дней мы узнаем о том, как социалистическое соревнование трудящихся округа затем развернулось в соревнование между Кузбассом и Донбассом, Уралом и Кузбассом.

Огромную роль сыграла газета в организации и проведении знаменитой «Урало-Сибирской переклички», возникшей также в 1929 году.

Осенью 1930 года окружное административное деление было упразднено. Прекратил свое существование и Кузнецкий округ. К этому времени районы окрепли, хорошо прижились и подчинились непосредственно краевым организациям. Окружная газета «Кузбасс» стала органом Кемеровского горкома ВКП(б), горисполкома и горпрофсовета. И вот что мы узнаем,

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

читая пожелтевшие страницы «Кузбасса» 30-х годов:

15 сентября 1932 года — на Кемеровском руднике заложена крупная шахта «Северная».

В июне 1933 года образован Рудничный (тогда Эйховский) район города, объединивший все партийные организации Кемеровского рудника. Здесь стала выходить многотиражная газета «За уголь».

Апрель 1931 года. Редакция «Правды» ввела должность собственного корреспондента по Кузбассу. Это ответственное поручение было возложено на тогдашнего редактора Кемеровской газеты «Кузбасс» т. Аверьянова.

Январь 1935 года — в связи с окончанием строительства Кемеровской ГРЭС закончено испытание и введена в действие высоковольтная линия Кемерово — Ленинск-Кузнецкий — Белово.

Март 1935 года — утвержден комитет содействия по постройке в

Он никогда не хватается за линейку сам: «Газета должна выйти во что бы то ни стало!» — диктаторский жест, который вдруг делает ведущего секретаря лишним, жалким, неуверенным в себе. Он оберегает самолюбие своих подчиненных. И переделанный вариант одобряет так бурно, что обида твоя улетучивается мгновенно. Что и говорить, работать с ним просто и приятно.

V

Однажды на должность фотокорреспондента был принят новый сотрудник. Принят с испытательным сроком, потому что репортерского опыта у него не было совершенно. До этого Эдуард работал в Ленинграде в фотолаборатории, изготавливающей массовым тиражом различные виды города на Неве. Некоторое время он всматривался в жизнь редакции, выполнял небольшие задания. Ему у нас нравилось. И он решил ликвидировать все недомолвки, которые, как ему казалось, у него остались с редактором. Он вошел в кабинет шефа и сказал:

— Считаю своим долгом не скрывать от вас, что я сохранил ленинградскую прописку.

Николай Яковлевич посмотрел на него с некоторым недоумением:

— А, знаешь, мне твоя прописка не нужна. Мне нужна твоя работа.

Эдик вышел из кабинета потрясенный. До этого жизнь сталкивала его с руководителями совсем иного плана. Он менял у нас не только профиль своего фотографического мастерства, но и свой критерий общественной ценности человека. Его подкупила простота взаимоотношений между журналистами «Кузбасса», основанная исключительно на уважении к труду и таланту.

Свою первую поездку по области Эдик совершал вместе со мной. Я должен был помочь ему сориентироваться и правильно выбрать темы для большого фоторепортажа в праздничный номер. Были у меня и свои планы.

Сто раз я ездил по автомобильной трассе, связующей города и поселки индустриального Кузбасса. Но эта поездка была особой. Я смотрел на давно виденное, примелькавшееся глазами Эдика, человека нового, старающегося понять душу нашего края. В каком-то ином, значительном свете предстали шахты и разрезы, кварталы городов, промышленные гиганты, через которые лег наш путь.

Ранним зимним утром мы подъехали к недавно построенной коксовой батарее Запсиба. На темном фоне расветного небосклона она сияла, как дворец, величие, силу и красоту которого не могла бы передать вся фантазия народных сказок. Эдик схватил камеру и выскочил из машины. Увязая в сугробах, он ринулся к какой-то намеченной им точке съемки, торопясь запечатлеть это индустриальное чудо, пока не рассветло и не смыло огни. Сделав несколько кадров, он опять

же бегом стал пробираться к другой точке, потом к третьей и скрылся из виду. Мы с шофером ждали его часа полтора.

Жадно он работал на шахтах Междуреченска, на Беловской ГРЭС, во многих других местах, где мы побывали. Через камеру фотоаппарата его верный взгляд художника улавливал все самое значительное. Снимки получились великолепные. Моей задачей было их соответственно подать в номере. Фоторепортаж, начавшийся на первой полосе, прошел затем через подвал разворота. Каждый снимок представлял одну тему и имел свой заголовок, а в целом получился яркий иллюстрированный рассказ о жизни области, о ее людях, ее природе.

Эдик забыл о своей ленинградской прописке, он надменно прописался в большой журналистике.

Еще мне памятна наша совместная поездка с Валентином Алексеевичем — опытным, матерым газетчиком, ориентирующимся в Кузбассе, как в собственном доме. Он знает о каждом предприятии буквально все — историю, возможности технического прогресса, людей. А люди знают его — умного, проникательного журналиста, не раз своим пером помогавшего решать сложные производственные вопросы. Это был совсем другой взгляд на область, взгляд хозяйский, заботливый, требовательный.

В нашем секретарском деле важно сочетать оба эти взгляда. В каждом номере должна чувствоваться новизна ощущений фотокорреспондента Эдика и глубина восприятия заведующего промышленным отделом Валентина Алексеевича. Создавая номер, ты как бы открываешь область заново и в то же время продолжаешь ее повседневную будничную работу. Гул заводских цехов, строительство шахтных электровозов, леса новостроек, огни больших городов, выраженные в снимках, заголовках, рубриках, линейках, шрифтах, газете «Кузбасс» столь же необходимы, как страницам «Алтайской правды» шелест стеблей хлебного поля.

В то же время давно сложившаяся и бурно растущая экономика Кузбасса требует глубины инженерной мысли. Поэтому, как бы работники секретариата ни выступали против крупных материалов в пользу компактных, небольших, солидные обобщения передового опыта по-прежнему определяют характер нашей газеты, делают ее не просто легким «читивом» в свободную минутку, но постоянным помощником в борьбе за технический прогресс, участником этой борьбы.

Работник отдела в каждом конкретном материале имеет дело с одним явлением или группой явлений. Секретарь — наедине с областью в целом. Очередным номером газеты он говорит о ней полно и весомо, связывает ее жизнь с жизнью страны и всего мира.

Если непосвященный спрашивает у меня, что такое секретариат газеты, я, стараясь объяснить популярнее, сравниваю его со штабом войскового подразделения или со службой главного инженера предприятия. Но это очень приблизительно. Я рассказываю о деятельности заместителя ответственного секретаря, его назы-

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

Кемерово звукового кинотеатра «Москва».

Апрель 1935 года — вышел первый номер многотиражной газеты Правобережного строительства в Кемерово (Кировский район) «Социалистическая стройка».

25 августа 1935 года — открылось грузовое движение по железнодорожной ветке Кемерово — Барзас (48 км).

1 мая 1935 года — Анжерская подстанция получила электроэнергию Кемеровской ГРЭС.

Июнь 1935 года — партком Правобережного строительства преобразован в Кировский райком ВКП(б). Принято решение об издании на Кемеровском азотнотуковом заводе многотиражной газеты «За азот» и т. д.

К 1939 году население Кемерова достигло 133 тысяч человек (в 1917 году здесь проживало около 3 тысяч).

Газета «Кузбасс» была в центре большой общественно-политической жизни растущего индуст-

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

стриального района. Редакция газеты состояла из небольшого коллектива пытливых и задорных журналистов, многие из которых, придя из гущи жизни, не всегда имели достаточный опыт журналистики.

Незадолго до Великой Отечественной войны редактором «Кузбасса» был утвержден учитель-историк, директор школы № 1 г. Кемерова Василий Александрович Цалобанов. Чуткий, отзывчивый человек, он быстро освоил боевую профессию, хотя начал ее с курьеза. В самые первые дни работы молодой редактор и секретарь редакции обсуждали макет очередного номера газеты. «Вот этот материал, думаю, дадим подвалом», — сказал секретарь редакции. Редактор согласился. А немного погодя пригласил секретаря и смущенно заявил: «Слушай, я только что был в подвале и там нет никакого материала». Долго потом сотрудники редакции с улыбкой вспоми-

вают и просто — секретаря. Я не касаюсь обязанностей ответственного секретаря, который планирует темы на неделю, на месяц, на квартал, организует работу отделов, определяет взаимоотношения с руководством типографии, борется за график и т. д. и т. п. Не берусь сказать, где эти обязанности начинаются и где кончаются. Тем более, что его заместители всегда доставляли ему немало хлопот.

Мы всегда считали себя чем-то обиженными по сравнению с другими работниками редакции, которые чаще ездят в командировки, чаще встречаются с людьми, чаще выступают со своими материалами. Я, например, искренне завидовал членам выездной редакции на ударных стройках области. Их кочевая, полная приключений жизнь на переднем крае борьбы за рост индустриальной мощи бассейна дает великопнейший журналистский материал, которого может хватить тебе на долгие годы работы. К тому же специальный выпуск газеты «Кузбасс», который имеет малый формат и между нами ласково называется «Кузбассенок», открывает небывалый простор выдумке и экспериментам в верстке. Действительно ломаются все устоявшиеся каноны и правила.

И вот в адрес редактора начинаются просьбы, заявления, требования перевести в отдел. Николай Яковлевич, справедливо полагая, что работникам секретариата необходимо знать работу отдела, отпускает. Ты очень скоро сбиваешь охотку, тянешься к своему основному призванию, просишь позволить сверстать отдельные номера, заменяешь секретаря на время отпуска, а потом возвращаешься официально, чтобы спустя некоторое время взбунтоваться снова.

Помню, мои попытки уйти в отдел были пресечены в корне, а товарищу моему Анатолию это удалось. На следующее утро он приблизился к моему столу. Долго смотрел, как вычитываю тассовскую ленту, как меряю гранки, как черчу макет. И вдруг произнес сквозь зубы:

— Секретарская крыса.

Я едва удержался, чтобы не запустить в него пельницей. А между тем в шутке его звучала первая трусть, первое сожаление, что расстался с любимым делом. Довольно-таки скоро он вернулся в секретариат.

VI

Когда жарким летним днем я иду по кемеровскому пляжу и смотрю на обрывки газет, оставленные не очень-то аккуратными купальщиками, я по самому маленькому клочку без труда узнаю свою родную газету. Рисунок шрифта, тон печати, характер линейки — да мало ли их, незначительных, казалось бы, примет, которые определяют ее неповторимый облик, делают непохожей на все другие? А если поднять такой клочок и разглядеть его внимательно, можно определить и работника секретариата, который вел номер.

Вот легкая штриховая заставка, сделанная умелой рукой нашего художника Евгения Сергеевича. Вот ко-

лѳнка «Зарубежный калейдоскоп». Это любимая рубрика Николая. Заметки под нее он подбирает сам. Зная многие европейские языки, отыскивает наиболее интересное и занимательное в зарубежных газетах и переводит на русский. А в этой резкой прямоугольной верстке угадывается рука Анатолия.

Мимо проходит девушка. Она красива. Но я смотрю ей вслед не поэтому. Бумажная панاما, защищающая ее от солнца, сделана из моего любимого номера, в который я вложил немало сил и труда, и который, по общему мнению, удался. Обладательница панамы не имеет представления об этом. Да и зачем ей?

Итак, газета наша, имея характерные признаки, объединяющие все номера по внешнему виду, отражает также индивидуальные личные вкусы каждого работника секретариата. Когда смотрю на лежащую передо мной грудку статей, фотоснимков, информации, тасовских лент, у меня такое состояние, которое я назвал бы ожиданием чуда, волшебства, по которому все эти материалы, подготовленные моими товарищами, обретут свою окончательную форму, станут, газетой. За долгие годы работы в секретариате выработался своеобразный критерий оценки каждого материала в соответствии с его значимостью, глубиной, целью.

Вот этот легкий репортаж, связанный с природой, должен быть набран непременно светлым курсивом и требует клишированного заголовка. Подборка важных партийных информации соответствует плотному черному шрифту, просится на открытие второй полосы в строгую рамку. Вот эта статья видится мне на пять колонок, не меньше, нужен простор заголовку и рубрике...

Я никогда не знаю заранее, как сложится полоса. Корзина ломится от испорченных макетов, набросков, вариантов. Если все складывается так, что какой-то материал терпит ущерб — макет не годится, летит в корзину. Вот ты добился такого сочетания, какого не было, кажется, никогда. Каждый материал, каждая информация выглядят «вкусно», вызываяще — «вот мол, я, прочитайте меня!» Снимки украшают, но не утяжеляют полосу. Рамки яркие, но не более, чем требует чувство меры. Можно нести макет на утверждение редактору.

Помню номер, посвященный тридцатилетию области. Одним из главных материалов был очерк Александра Волошина — «Зрелость земли моей». Писателю, автору известного романа «Земля Кузнецкая», очень уместно было выступить в газете в связи с этим юбилеем. Очерк не мог стать в «чердаке» или в «подвале», обособившись от полосы. Он не мог быть внешне чисто прямоугольным, поскольку написан сложно, многопланово. Он не мог принять форму, зависящую от окружающих снимков. Очерк должен был стать красиво.

Ох, и помучился я с ним! Но желаемого добился. Большой кусок неправильного, но стройного рисунка лег на полосу весомо, диктаторски вписавшись в другие материалы, причем не разделяя их, а скорее объединяя в единое целое.

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

нали «историю с подвалом». Вскоре после войны В. А. Цалобанов уехал учиться в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), после окончания которой работал редактором Амурской областной газеты, а потом секретарем Амурского обкома партии.

В июне 1941 года грянула Великая Отечественная война. Тысячи кузбассовцев ушли на фронт отстаивать честь и независимость нашей Родины. Ушли на фронт и многие работники редакции и типографии Кузбасса.

С первых дней войны газета «Кузбасс» из номера в номер рассказывала читателям о ратных делах земляков на фронте, о трудовом героизме в тылу, о том, в каких неимоверно трудных условиях монтировались эвакуированные из европейских районов страны заводы, на ходу расширялись и перестраивались.

Оценивая результаты самоотверженного труда героических тружеников

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

Кузбасса, газета «Правда» в своей передовой статье от 27 июля 1945 года писала: «Кузбасс сыграл огромную роль в Отечественной войне, и его заслуги перед социалистическим отечеством не забудет история».

В самый разгар войны Советское правительство признало целесообразным выделить города и районы Кузбасса в самостоятельную область. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 года была образована и наша Кемеровская область.

Кемеровская городская газета «Кузбасс» стала органом областного комитета партии и областного Совета депутатов трудящихся. Первый номер «Кузбасса», как областной газеты, вышел 5 марта 1943 года.

Редакция ее была укомплектована за счет опытных журналистов новосибирских областных газет и некоторых городских газет Кузбасса. Газета стала боевым

Да, именно так! От твоего личного отношения к материалу и его автору зависит порой, как выглядеть ему на полосе. Глубоким размышлениям рабочего о своем производстве отыскиваешь самое яркое выражение и стараешься поскромнее поставить сухую справку, самоотчет иного должностного лица. Такие справки, лишенные мысли, как мы ни боремся с ними, нет-нет, да и проникают на страницы газеты.

В муках рожденная полоса попадает в заботливые руки работников газетного цеха. У меня теплая дружба с метранпажами и линотипистами. Я знаю сильные и слабые стороны каждого из них. Когда Маша, например, ругается и негодует по поводу необходимой переверстки, я не тороплюсь с ней поспорить, а терпеливо жду. Ничего, сейчас выговорится, успокоится и сделает все как надо.

Работники газетного цеха — не казенные исполнители наряда, они любят газету, дорожат именно этим производством, где требуется, помимо мастерства, еще и оперативность, умение быстро перестраиваться, быть готовым к тому, что срочный материал может продлить твою рабочую смену до позднего вечера, а порой и до раннего утра.

Мне нравится сам процесс верстки, я зачастую встаю рядом с метранпажем, и мы на ходу утрясаем полосу, обсуждаем целесообразность тех или иных линеек, вносим в макет поправки, которые явно его улучшают. Мне навсегда останутся родными запахи краски, стук заготовочной машины и тискального станка, глухой звон строчек, когда твои долгие мудрствования над макетом обретают материальное выражение в металле.

Уже поздно вечером, когда большинство работников редакции расходятся по домам, остаются только ревизионный корректор да дежурные по номеру, метранпаж торжественно и любовно устанавливает клише и «тискает» мне все четыре полосы будущей газеты. И если замыслы осуществились, если получилось гораздо лучше, чем предполагал, то отчего же не полюбоваться этими полосами, которым завтра предстоит, как крыльям, раскрыться во всех уголках области?

В одну из таких минут метранпаж Ида Федоровна призналась мне:

— А знаешь, нас ведь тоже надо заинтересовать макетом. Красивый номер делаешь охотнее и быстрее. Красивый номер — для нас праздник.

Четыре полосы, доведенные до совершенства скрупулезным трудом дежурных, корректоров, выпускающего, метранпажей, цинкографов, наконец, матрицируются. Рабочий день заместителя ответственного секретаря давно уже кончился, но ты не торопишься домой, дорогой для тебя номер хочется увидеть готовым, и ты вслед за матрицами отправляешься в печатный цех.

Когда приправленная и отрегулированная машина будет включена на полную мощность, а возле ленточного конвейера встанут упаковщицы, ты запустишь руку в газетный поток и возьмешь их целую пачку — свежих, ароматных, шелестящих номеров.

Ты вынесешь пачку газет, пройдя мимо автомобилей, готовых принять ценный груз и помчаться во все концы области. Ты пойдешь по вечернему проспекту и будешь вглядываться в лица встречающих значительно, с чувством человека, знающего нечто такое, чего не знают они и что они узнают только завтра, найдя газеты в своих почтовых ящиках. Тебе захочется нарушить установленный порядок и вручить кому-то завтрашний номер уже сейчас, но ты сдерживаешься. Как никогда, ты ощутишь любовь к людям в эту минуту.

VII

Однажды меня попросили выступить на семинаре ответственных секретарей городских и районных газет. Я посмотрел популярные учебники по журналистике и убедился, что секретарскому делу по ним не научишься. Да, верно, и невозможно написать такую книгу. Пока она будет выходить, жизнь настолько изменит облик газеты, что многие рекомендации окажутся устаревшими.

Когда я листаю подшивки старых газет, многие «шедевро» прошлых лет сейчас кажутся наивными, порой просто неграмотными. В основе развития техники верстки лежат два требования: яркость и простота. Техника эта изменяется так же стремительно, как меняется жизнь.

Но не только она интересует меня, когда я листаю подшивки старых газет. За каждым номером споры, творчество, труд, голоса и лица товарищей.

Ведь ни один номер не макетировался в одиночестве. Неведомая сила звала в секретариат всю редакцию. Каждый, у кого выдавалась свободная минутка, кто хотел передохнуть после нескольких часов труда, считал своим долгом прийти сюда за новостью, за душевным разговором, за свежим анекдотом, чтобы потом помчаться по коридору в поисках непосвященного и пересказать анекдот ему. Если учесть то, что в редакции несколько десятков работников, станет ясно, что оборвать поток посетителей не так-то просто. Все время здесь толпилось несколько человек, дымили палитрами, рылись в папках, перекладывали с места на место гранки, что приводило в отчаяние секретаря, ведущего номер.

Всегда находился скандалист, который оспаривал сокращение его материала. Он непременно считал, что у него убрали самое важное, самое кровное место, нарушив тем самым всю логику рассуждений.

На собраниях и планерках неоднократно ставили вопрос о том, что секретариат — не клуб, не курительная комната, что незачем торчать там без толку. Не помогло. Решили, что все дело в диване, который загромаждал и без того тесное помещение и зазывал к себе всех проходящих мимо. Диван вынесли, убрали лишние стулья. Тогда посетители стали сидеть на окнах, просто стояли, но паломничество не прекратилось. И странная мысль пришла мне в голову, что без этого скопления — журящего, острящего, галдящего, кричащего, лезущего с советами, просьбами, пожеланиями,

ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» — 50 ЛЕТ

помощником областной партийной организации.

21 июля 1960 года вышел 10000-й номер областной газеты «Кузбасс». Коллектив редакции в связи с этим получил поздравительные телеграммы редакций укомплектована за счет опытных журналистов «Правды» и «Советской России», «Красноярского рабочего», «Советской Сибири», редакций ряда городских многотиражных и районных газет Кузбасса. Тепло приветствовали тогда работников «Кузбасса» Кемеровский обком и горком партии, облисполком и горсовет.

Дружный коллектив «Кузбасса» и в наши дни трудится так, чтобы успешно справляться с большими задачами, которые ставит перед ним областной комитет партии.

А. МАЗЮКОВ,
член Союза журналистов СССР

НЕМНОГО ИСТОРИИ

30 октября 1946 года Бюро Кемеровского обкома ВКП(б) приняло постановление о создании при областной газете «Кузбасс» книжно-журнальной редакции, которая через два года выросла в самостоятельное книжное издательство.

21 июля 1960 года вышел 10000-й номер газеты «Кузбасс».

8 августа 1965 г. газета «Кузбасс» сообщила, что с начала семилетки в Кузбассе введено около 500 промышленных предприятий, 4 млн. кв. метров жилья, школ на 121 тыс. мест, 4 театра, 20 кинотеатров, свыше 2 тысяч магазинов и столовых. В капитальное строительство вложено столько средств, сколько их было освоено за четыре предшествующих пятилетки.

работалось бы гораздо скучнее, с меньшим подъемом. Я научился отключаться совершенно от этого шума и гама на время вычитки материалов и составления макетов. А если было что-то неясно, не надо идти или звонить в отдел: один из его представителей обязательно околачивается здесь. В этом бедламе можно было найти некоторые положительные стороны.

Все мы готовились к чему-то большому, ощущали себя как бы в преддверии жизни, не подозревая, что живем самые счастливые, самые наполненные свои дни. Впоследствии многие мои товарищи ушли в центральные газеты или в писатели. Многие стали мастерами, специалистами по какой-то отрасли, «выбились в люди», оставшись в редакции газеты «Кузбасс». Николай Яковлевич стал руководителем одного из центральных изданий, что мы сочли естественным и закономерным. Он оставил газету в руках своих товарищей и воспитанников.

Кажется, редакция изменилась, но, наверное, просто изменились мы сами. Все больше становится новых работников, несущих новые интересы, взгляды, темы. И среди них человек, появление которого для меня знаменательно.

Носатый южанин с черноморским акцентом, сразу завоевавший расположение коллектива благодаря веселому нраву, он пришел в редакцию уже с немалым секретарским опытом. Он стал знаменит в деле верстки газеты, когда выпускал «Эврику» — трибуну московских студентов. Многие из моих макетных убеждений для него старомодны и необязательны. А однажды он поразили меня заявлением:

— Этот очерк надо поставить красивее. Я пороюсь в своих записных книжках, там есть кое-какие наброски и варианты.

Наброски и варианты в записных книжках... У меня никогда не было такого. Я вдруг обнаружил, что давно макетирую газету вообще без черновиков. В памяти столько способов расположить материалы на полосе, что я делаю это сразу, в несколько минут, не стараясь изобрести что-то новое. Меня уже не волнует, что линейки выпускающий поставил другие, не те, что указаны в макете. Грамотно — и ладно!

Творчество кончилось. Началось ремесло. Надо уходить...

Новое здание редакции высится в центре города, открытое людям. Под высокими сводами, в залитых светом вестибюлях и просторных кабинетах кипит напряженная журналистская жизнь. Рождаются новые традиции. И дай бог, чтобы сохранились лучшие из старых. Среди них та, что твои творческие поиски воспринимаются, как «кровный интерес» для всей редакции.

В краю тридцати елок. ►





Снова на немецкой земле

...За темным вагонным купе проплывают какие-то огни. Соседи спят, а мне не до сна. Еще несколько дней назад я носился по кемеровским улицам — у руководителя туристической группы забот хватает: списки, деньги, билеты, сувениры, инструктаж. И предстоящая поездка воспринималась как-то умозрительно, как весьма отдаленная возможность, которая еще неизвестно как и когда реализуется. Просто не верилось до конца, что попаду в Восточную Германию, где я служил четверть века назад и где вот уже более двадцати лет существует Германская Демократическая Республика.

У нас, в Советском Союзе, нет человека, который был бы безразличен к Германии и к немцам: слишком много жертв, горя и страданий принес нам немецкий фашизм. Но, работая в Восточной Германии, я не видел у наших людей ненависти к немцам. Видел желание помочь немецкому народу найти верный путь к светлему завтра, помочь побыстрее преодолеть фашистское наследие, побыстрее залечить раны войны.

Уже осталась позади Москва, завтра утром — Брест, а там Польша. И завтра же к вечеру — Франкфурт. И верится, и не верится. ...По вагонам прошли польские пограничники, поставили шестиугольные красные штампы в визы. Поезд медленно втянулся на мост через Одер. Несколько минут сквозь стальные конструкции отблескивала зеленоватая вода — непроницаемая и почти неподвижная — потом справа надвинулся высокий берег. Над крутым обрывом чуть колеблется черно-красно-золотой стяг с гербом в центре: молот и циркуль в венке. Постепенно поезд набирает скорость, мчится мимо составов на запасных путях, мимо домишек под красными черепичными крышами — теперь

насыпь идет над внезапно возникшим за окном городом — въезжаем под стеклянные своды франкфуртского вокзала. Наверно, скорость была не очень велика, если мы так, сразу, остановились. Это мое нетерпение...

Группа сгрудилась на перроне. Я знаю, что сейчас к нам подойдет представитель Райзебюро — немецкого бюро путешествий, с которым нам предстоит ездить по ГДР целых две недели. Вокруг снуют немецкие таможенники и пограничники, рядом выгружаются из соседнего вагона еще одна группа туристов. Издали замечаю высоченного улыбающегося парня в белой безрукавке — он смотрит в нашу сторону. Среагировать не успеваю — он уже рядом, по-русски произносит: «К-179». Это наш туристический маршрут. Выходит, это и есть наш гид?

Он тут же командует — несколько минут молчаливой суматохи, и тележка с нашими чемоданами уезжает. Нам раздают желтые карточки с перфорацией посередине — их надо заполнить здесь же: кто приехал, зачем, сколько дней пробудешь. Потом нас ведут к фаянсовым чашам — мыть руки: дезинфекция. Еще через минуту немецкий пограничник успевает пропустить всю нашу группу мимо себя: левой рукой отрывает по перфорации половину статкарточки, правой ставит печать на визе — битте, следующая, — положил, оторвал, ударил; битте, следующая, — еще положил, еще оторвал, — печать — битте, — и мы спускаемся на привокзальную площадь. Дитер — так зовут нашего гида — подводит нас к автобусу. Это самый что ни на есть обыкновенный, в Кузбассе повсеместно известный Икарус-люкс. Наши чемоданы уже уложены в багажники, водитель — невысокий, плотный и, видимо, себе на уме, — сидит за

рулем. С легкой усмешкой он наблюдает, как мы рассаживаемся. Дитер берет в руки микрофон, произносит по-русски:

— Мы сердечно рады видеть вас гостями нашей Германской Демократической Республики! Я буду вашим гидом, меня зовут Дитер Бергман. Водителя нашего автобуса зовут Ганс Якоб...

Над лобовым стеклом автобуса чуть колыхнется красный вымпел, к которому приколота добрая сотня всевозможнейших советских значков. Ревниво рассматриваю их — Волгоград, Киев, Одесса, Ленинград, Москва... Кузбасских еще нет!

АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ

Еще в конце прошлого столетия, когда Германия стремительно превращалась в крупнейшую индустриальную державу Европы, сложились внутригерманские экономические районы: металл и уголь — Рур и Саар, картофель и хлеб — Мекленбург, точная механика, оптика, швейная промышленность — Саксония и Тюрингия.

В 1945 году, после разгрома фашизма и создания четырех зон оккупации, эти экономические районы все еще существовали, и их послевоенное восстановление могло быть успешным лишь при условии взаимного кооперирования. Но уже в 1947 году западные державы перешли к политике дискриминации Советской зоны: торговые соглашения не выполнялись, поставки угля и металла систематически срывались. Летом 1948 года по указанию западных оккупационных властей торговля с Восточной Германией вообще была приостановлена. Правда, в октябре того же 1948 года после многомесячных затяжных переговоров во Франкфурте-на-Майне было подписано новое торговое соглашение между Западной и Восточной Германией. Но соглашение это западные державы и западно-германские правящие круги использовали для того, чтобы, опираясь на полную зависимость Восточной зоны от поставок каменного угля и металла из западных зон, тормозить экономическое развитие Восточной Германии и даже оказывать на нее политическое давление. Затем к внутригерманской торговле был применен американский закон о наложении эмбарго на торговлю стратегическими товарами с социалистическими странами.

Германской Демократической Республике, возникшей 7 октября 1949 года, надо было решать вопрос о создании собствен-

ной металлургической базы. Было решено построить два металлургических комбината, один из которых — «Ост», — должен был возникнуть на самой границе с Польшей, неподалеку от маленького городка Фюрстенберг. Выбор этого места был не случаен: по Одеру и по судоходному каналу Одер-Шпрее сюда можно доставлять в большегрузных баржах уголь из Польши и руду из Советского Союза.

1 января 1951 года, в первый день первой пятилетки, была заложена доменная печь № 1, через девять месяцев она была задута, в конце 1952 года дали плавку уже 4 домны. Проектную документацию на эти домны предоставил Советский Союз, в руководстве стройкой участвовали советские эксперты, оборудование тоже поступало из СССР.

Я помню, как злорадствовали западно-берлинские газеты и радио, если что-то не ладилось на строительной площадке. Помню, какие уничтожающе-обоснованные статьи печатали газеты Западного Берлина о тех «самоуверенных неучах», которые взялись «без квалифицированного руководства» бежавших на Запад «наших ведущих промышленников» строить такие сложные объекты, как металлургический комбинат... А неполадки в самом деле были, и опытных металлургов в самом деле не хватало, и их надо было готовить тут же, на месте.

Я смотрю из окна гостиницы на раскинувшийся внизу город — он сверкает огнями, неоновым реклам, блеском зеркальных витрин. Как и наш Новокузнецк, этот город возник при металлургическом комбинате и называется Айзенхюттенштадт (по-немецки «Айзенхютте» — металлургический завод). Гостиница, где разместили нашу группу, называется «Луник», и в этом мне тоже видится что-то символическое. Итак, начинается наш туристический маршрут: завтра утром нас ознакомят с Айзенхюттенштадтом.

После завтрака администратор гостиницы знакомит меня в вестибюле с пожилым невысоким мужчиной с членским значком СЕПГ в лацкане пиджака. Пожимаем друг другу руки, он говорит:

— Меня зовут Тэс, я буду вашим экскурсоводом. Пожалуйста, соберите вашу группу.

Он ведет нас через площадь в здание горсовета и горкома СЕПГ — там в вестибюле организован своеобразный музей. Несколько минут товарищ Тэс ждет, пока мы разместимся вокруг огромного макета

города в центре зала. Потом берет указку и оборачивается ко мне — я понимаю, что придется переводить. Как давно я этим не занимался...

— Первый жилой блок города заложен в январе 1951 года. Сейчас в городе более сорока пяти тысяч жителей. К 1972 году, когда будет пущен цех проката и сталеплавильный, в городе будет около шестидесяти тысяч. Наш город построен среди сосновых рощ, на песчаных пустошах, где еще двадцать лет назад не было ничего.

Это, — указка описывает круг над макетом, — наш торговый и административный центр, вот «Лунник», в котором вы живете. Это улица Ленина, наша торговая магистраль. Как видите, улица короткая, но здесь все первые этажи заняты специализированными магазинами. Вот это дом горсовета, где мы сейчас находимся. Это многоэтажное здание пока еще не возведено — здесь будет научно-исследовательский центр Республики по металлу. Это район (снова взмах указки) уже застроен, заселен.

Товарищ Тэс уводит указку в сторону.

— Вот здесь расположен наш металлургический завод «Ост». Еще в 1964 году, последнем году прошлой пятилетки, завод дал почти полтора миллиона тонн чугуна, что составляло тогда 60% производства чугуна в Республике... У нас шесть доменных печей, высота газгольдеров 100 метров, высота заводских труб 120 метров...

Обе наши докторши — Тамара Хлобystова и Рита Яковлева, — старательно записывают, иногда поглядывая то на меня, то на товарища Тэс. Интересно, успевают ли? Тэс говорит быстро... Потом мы с полчаса осматриваем стенды музея, а у самого выхода меня просят перевести товарищу Тэс вопрос:

— Много ли в городе детей?

Товарищ Тэс кивает:

— Наш город молод, средний возраст населения 30 лет. Около 30% горожан — дети и подростки до 15 лет. В среднем на каждую семью приходится по три ребенка. Самая многодетная семья имеет 12 детей.

— Сколько вам лет?

Товарищ Тэс улыбается:

— О, я уже совсем старый: 71 год. И я на пенсии.

— Кем вы работали раньше?

— Руководил финансами в торговом отделе магистрата...

В заключение — сорокаминутная поездка по городу.

Ездим по главным улицам и по переулкам,

дважды пересекаем канал Эльба-Шпрее, проезжаем мимо металлургического завода и хлебокомбината. Рядом со мной товарищ Тэс, он показывает и поясняет, я повторяю в микрофон по-русски:

— Вот наша больница, а там, через дорогу, — медтехникум. Это одна из школ-десятилеток, а это наш зеленострой: здесь разводят розы для города, и еще лук и помидоры...

Выезжаем на улицу, сплошь засаженную ярко-желтыми и алыми цветами, среди цветов — прудочки. Берега облицованы камнем. Нет, никак не ощущаешь, что город — новостройка: в заселенных кварталах никаких следов строительства, все добротно, все основательно, кругом асфальт, гранит, а уж если штакетник, то обязательно выкрашенный масляной краской. Вдоль улиц асфальтированные дорожки — специально для велосипедистов. Аккуратные таблички: «Осторожно! Впереди перекресток!», «Пешеход, перейди налево!» — и стрелка указывает, как надо перейти. Кое-где вдоль улиц установлены огромные автомобильные шины, а в центре шин щиты с текстом «Будь осторожен: мы катимся!». И уж конечно самая хорошая улица — имени Ленина. Она действительно короткая и какая-то по-домашнему уютная: посреди тротуаров цветники; витрины — чистенькие, без единой пылинки, — играют многоцветным буйством товаров (к тому же витрины здесь продолжение прилавка, они от торгового зала не отделяются, и любой товар, выставленный в витрине, продается). Стена трехэтажного здания украшена мозаичным панно. Да, хорош первый немецкий социалистический город!

ДРЕЗДЕН

Город этот возник на месте славянского поселения Дращяны.

Первое письменное упоминание о Дрездене относится к 1206 году, и до 1485 года Дрезден оставался крохотным городком с крепостью на переправе через Эльбу, как окрестили немцы славянскую Лабу. Затем саксонские курфюрсты и короли, избравшие Дрезден своей столицей, возводят замок, дворцы, храмы, один другого великолепнее. Особенно бурно Дрезден отстраивается в XVIII веке, когда здесь творили замечательные мастера Пепельмани и Пермозер. Ныне этого города, воспетого в прекрасных картинах Бернардо Белотто, не существует.

Старый город погиб в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. В это время — как раз 11 февраля — завершилась Ялтинская конференция, определившая, что территория восточнее Эльбы войдет в Советскую зону оккупации. Черчилль отдал приказ маршалу авиации Гаррису осуществить давно запланированный и временно отложенный удар по Дрездену. «Я хочу продемонстрировать русским нашу силу» — так заявил Черчилль. Бомбежка исторического центра Дрездена, где не было никакой, — не то что военной, а вообще никакой промышленности, — явилась актом преднамеренного варварства. К тому же в Дрездене в это время скопилось помимо основного полумиллионного населения около пятисот тысяч беженцев. И именно здесь была применена так называемая «ковровая бомбежка». Мне довелось беседовать с несколькими людьми, пережившими эту ночь. После налета прошел год с лишним, но они не могли слышать звука самолетных моторов. Первая волна — 800 машин — бомбила центр, не трогая городского парка и поймы реки. Сюда, спасаясь от огня и взрывов, спешило укрыться население. Вторая волна — 1200 машин — сбросила бомбы в парк и пойму Эльбы. Утром прилетели американцы и нанесли третий удар. Считается, что в эту ночь в Дрездене погибло 35 тысяч жителей. Но это число определено списком погибших из числа прописанных. Целую неделю на Рыночной площади жгли трупы. Исторический центр города погиб.

Мне довелось впервые увидеть Дрезден в ясный августовский день 1946 года. Веселые, ярко-желтые трамваи с гербом города на боках бегали с радостным трезвоном через узкие улицы с мертвыми развалинами. В памяти остались нескончаемые штабели кирпича, вынутаго из развалин рухнувших зданий, аккуратно рассортированного, аккуратно уложенного. На разборке руин работали женщины — их звали «трюммерфрауэн», «трюммер» по-немецки развалины. Постарше и помоложе, в брюках и платьях, из рук в руки с нелепой высоты разбомбленных зданий они передавали эти самые кирпичи.

И вот мы въезжаем с севера на улицы Дрездена — конечно, никаких штабелей кирпича нет и в помине, нет завалов и зияющих пустыми оконными глазницами стен, за которыми просвечивает голубое небо. Город возродился, и ничего не будит в памяти прежних воспоминаний. Ныряем под железнодорожный мост, несколько поворо-

тов — перед нами Эльба, и на той стороне — знакомые очертания. Конечно, это она, придворная католическая церковь, творение знаменитого архитектора XVIII века, итальянца Кьявери. Она восстановлена, возносится на 80-метровую высоту украшенная мраморными колоннами башня. Завтра, когда мы будем снимать ее на кинолентку, мы увидим на портале главного входа поблекшую, но еще отчетливую белую надпись: «Замок проверен. Мин нет. Проверял Ханутин». Такую же надпись мы найдем завтра и на здании картинной галереи — кто он был, этот Ханутин, где он сейчас — кто знает? Четверть века с тех дней прошло, и до сих пор не стерты эти торопливые белые надписи — выходит, надо людям, чтобы новое поколение знало, кто тут мины обезвреживал...

Ганс, словно понимая наше состояние, ведет автомобиль чуть ли не со скоростью пешехода. Теперь он разворачивает влево, к Почтовой площади. Современные линии, стекло, железобетон: район новой застройки. Дитер указывает прямо, говорит мне по-немецки:

— Вон те три огромных корпуса, куда мы едем — лучшая гостиница в ГДР. Корпуса называются «Кёнигштайн», «Лилиенштайн» и «Бастай»...

Эти названия мне известны — так зовут три горные вершины в окрестностях Дрездена, в Саксонской Швейцарии.

Вечерет.

Сияют неоновые снежинки на стене кафе; неумолчно шумят фонтаны перед нашей гостиницей — таких я еще не видел: на металлических высоких и низких стойках, причудливо отражающихся в квадратных бассейнах, смонтированы медные диски и шары. Вода плещется по ним, обволакивая шары прозрачной пленкой. Справа сотнями окон светятся двенадцатитажные гостиничные корпуса, слева тянется пятнадцатитажная громадина — говорят, самый длинный дом в ГДР. По крыше его бежит световая реклама РФТ — радио- и телевизионной промышленности Республики: синие буквы сменяются красными, снова синие и опять красные... Вот ведь удалось строителям при всех этих современных линиях, при индустриальном методе строительства и сохранить национальный колорит, и не подавить колоссальными бетонными и стеклянными плоскостями неповторимую прелесть миниатюрных по сравнению с ними строений ренессанса и барокко!

Постепенно у фонтана собираются с прогулки почти все члены группы. Уже поздно, но в гостиницу никто не идет: состояние какое-то праздничное. Мы второй день в ГДР, и пока все нравится — и обстановка, и люди, и отношение к нам: товарищески-внимательное и ненавязчивое. Но расхотится все-таки надо: завтра весь день расписан по минутам — картинная галерея, музей, экскурсия по городу...

Широко известно, что собрание картин Дрезденской галереи по приказу бывшего фашистского гауляйтера Саксонии Мартина Мучманна подлежало уничтожению при приближении Советской Армии. Известно, что большая часть этих сокровищ мировой культуры была спасена решительными действиями 164-го батальона 5-й Гвардейской Армии 1-го Украинского фронта. К розыску музейных ценностей был привлечен и один из бывших помощников Мучманна, Артур Грэфе, который ездил с подразделением советских бойцов по окрестным замкам и собирал вывезенные туда картины и иное музейное имущество. Позже Грэфе уехал на Запад и в 1954 году опубликовал в газете «Штуттгартер Цайтунг» воспоминания об этих днях:

«В некоторых замках в долине Мульды, — писал он, — брошенных их владельцами, нас постигли первые разочарования. На куче навоза мы обнаружили варварски изломанную мебель Людовика XVI из Дрезденского Резиденц-замка; в до невозможности разгромленных помещениях валялись на полу разбитые черепки редких ваз китайского и майсенского фарфора. Исчезли из ящиков ценные французские часы старинной работы и миниатюры... Лишь картины и книги остались почти неповрежденными. Было совершенно необходимо все эти свидетельства европейской культуры оградить от дальнейшего уничтожения. При полном отсутствии какой бы то ни было немецкой власти это могли осуществить лишь власти оккупационные... Без преувеличения можно сказать, что без энергичного вмешательства советских оккупационных властей неисчислимые культурные ценности в значительной мере были бы похищены или уничтожены разным сбродом».

Самым замечательным произведением Дрезденской галереи является, бесспорно, творение Рафаэля «Сикстинская мадонна» — картина, написанная в 1512—1513 годах. В Дрезден эта картина попала в 1754 году — саксонский королевский двор заплатил за нее двадцать тысяч цехинов,

что по тем временам было весьма значительной суммой. Сегодня эта картина цены не имеет.

Рут и Макс Зейдевиц в своей книге «Подаренный Геркулес» (Берлин, 1969 год, издательство «Дер Морген») рассказывают о таком эпизоде: в 1955 году «Сикстинская мадонна» перед ее возвращением в ГДР была выставлена в Московском музее имени Пушкина, и однажды посмотреть на нее пришла группа западных журналистов. Некий американец, долго рассматривая картину, спросил экскурсовода — сколько стоит это полотно? Вопрос поверг экскурсовода в такую растерянность, что она лишь через некоторое время нашлаась и в свою очередь спросила — сколько стоит солнце? Если бы картина погибла, возместить эту потерю нельзя было бы за все деньги мира. В 1964 году пресса ГДР сообщила, что «Сикстинскую мадонну» предлагают отправить в Токио на выставку. В дирекцию Дрезденской галереи посыпались страстные протесты населения, международные туристические фирмы предупредили, что не гарантируют притока туристов в Дрезден, если там не будет «Мадонны». И картина осталась в Дрездене.

К сожалению, не все картины Дрезденской галереи были разысканы в 1945 году и не все спасены. Заместитель главного директора Дрезденской галереи, доктор Ганс Эберт, в результате многолетних изысканий установил, что в годы фашистского господства — надо сказать, что нацистские главари исподволь растаскивали картины галереи для украшения своих апартаментов и вилл, — а также во время войны утрачено 713 ценнейших картин. Из них 199 сгорело при бомбежке 13 февраля 1945 года, а более 500 картин пропало. И розыск этих картин в послевоенные годы порой смахивал на чисто детективные истории. Так, в декабре 1950 года в дирекцию Пильницкого музея, который в те годы представлял собой что-то вроде филиала Дрезденской галереи, пришло анонимное письмо — из Берлина через Лейпциг. В конверте не оказалось ничего, кроме квитанции на багаж, хранящийся в Берлине на Восточном вокзале. После уплаты двенадцати марок за хранение представитель музея получил пакет, в котором оказались две картины Дрезденской галереи — обе они считались пропавшими. Кто сдал в багаж эти ценнейшие картины XVIII века, кто переслал квитанцию в музей, осталось не выясненным.

В другом случае к искусствоведу Пиль-

нического музея фрау Вайнхольц явился некий посетитель, целый час не давал ей работать светски-вежливой болтовней о своей коллекции, а затем, взяв с нее слово, что его имя не будет разглашено, сообщил, что знакомый ему торговец картинами через посредника вступил в сделку с кем-то из Западного Берлина и собирается отвезти туда две картины Антонина ван Дейка из Дрезденской галереи. Фрау Вайнхольц немедленно оповестила народную полицию, и торговца вместе с посредником задержали в поезде, когда они везли картины в Берлин.

В 1963 году в ГДР был опубликован составленный доктором Эбертом каталог пропавших картин Дрезденской галереи — считали, что он вызовет интерес специалистов-искусствоведов и лиц, причастных к торговле картинами. Но случилось неожиданное: один из самых популярных в ГДР журналов, «Нойе Берлинер иллюстрирте», посвятил этой теме номер, затем описания и снимки пропавших картин перепечатали другие газеты — прежде всего там, где хранились вывезенные из Дрездена картины в последние месяцы войны. Даже заводские многотиражки помещали снимки пропавших картин. В 1964 году Министерство культуры ГДР издало распоряжение, чтобы все картины, поступающие в салоны или продающиеся в частном порядке, обязательно выверялись по каталогу доктора Эберта. Этот всенародный поиск позволил вернуть в галерею многие картины, считавшиеся утраченными.

Но Дрезден — отнюдь не только картинная галерея.

• Дрезден — это и «Зеленые своды», бывшая сокровищница саксонских курфюрстов и королей, где собраны изделия немецких и иностранных мастеров нескольких столетий — изделия бесценные не потому, что они изготовлены из золота и драгоценных камней: искусство мастеров, живших несколько столетий назад, неповторимо.

МАЙССЕН — ГОРОД ВОЛШЕБНИКОВ

Майссен лежит в отрогах Рудных гор.

Как утверждают германские хроники, город основан в 930 году тюрингским графом Генрихом, захватившим эти земли у славянского племени сорбов.

В 1473 году здесь возводят замок Альбрехтсбург — именно ему суждено было через 250 лет прославить Майссен на весь

мир: в 1710 году здесь была устроена первая в Европе фарфоровая мануфактура.

Европейский фарфор, как известно, изобрел Бёттгер — аптекарь-алхимик, бежавший из Берлина в Дрезден, столицу Саксонии. Тогдашний король Польши и курфюрст Саксонии Август II Сильный ждал от Бёттгера золота. Бёттгер сделал фарфор — сначала, в 1704 году, темно-коричневый, так называемый «беттгеровский камень», а в 1708 году — белый. Стоил же фарфор ничуть не дешевле золота: архивы сохранили переписку между саксонским и прусским дворами о покупке тем же самым Августом Сильным в 1717 году у прусского короля китайского сервиза из сорока восьми предметов, и плачено было за сервиз полком драгун числом 600 человек из расчета 20 талеров за драгуна.

...Добрый час мы бродим по двухэтажному музею Майссенской фарфоровой мануфактуры — здесь выставлены вазы, блюда, сервизы, статуэтки, скульптурные группы. От одной витрины к другой, из зала в зал, и никаких пояснений не требуется: зачем же комментировать красоту?

Потом — экскурсии по цехам. Первый рабочий зал. В правом углу за гончарным кругом молодой подмастерье. Босыми ногами он быстро вращает диск, руки его оглаживают белую сырую массу. Потом он делает неумовимые движения пальцами — под его руками возникает что-то вроде стакана, высокого, прямого, с толстыми стенками.

— Это заготовка, — говорит экскурсовод, — из которой сейчас будет сделана чайная чашка. Для этого используется форма...

Подмастерье крепит в центре гончарного круга какую-то круглую плиту, — все быстрее и быстрее работают его босые ноги, стакан исчезает в молоте центре плиты, что-то там происходит под его ловкими пальцами, и вдруг круг останавливается. Парень берет плиту — она распадается на сегменты, и в руках у него оказывается светло-серая чашка изысканной формы, с изящным тисненым узором. Он протягивает творение своих рук экскурсоводу, и неожиданно чашка расходится по шву, стенки ее гнутся, словно они из мягкой кожи.

— Теперь чашка должна сохнуть двое суток. Фарфор очень пористый и шершавый, его ждут следующие операции...

Второй зал — роспись под глазурь. В углу за столом немолодая сухошавая женщина. Перед ней чуть сероватые стопки фарфоровых блюдец и тарелочек.

— Уважаемые друзья! Фарфор можно расписывать двумя способами: под глазури и по глазури. Здесь вы видите первый способ. Изделия поступают сюда после первого обжига — они очень хрупкие и пористые. Фарфор мгновенно впитывает в себя краску, поэтому исправление рисунка исключено. Чтобы не ошибиться, мастерица пользуется шаблонами — рисунок из них сквозной. Если этот шаблон положить на блюдце и распылить пудру из угольного порошка, то на дне останется тончайший узор — по нему мастерица наносит рисунок. Не обращая на нас внимания, женщина то мелкими, то широкими мазками расписывает кисточкой дно очередного блюдечка, потом поднимает его над головой, чтобы мы могли видеть узор — он какой-то темный, невыразительный.

— Этот узор мы называем «луковичным». Он всегда только синий. Другой узор «цветочный» — зеленый. Оба узора разработаны по восточным мотивам больше двухсот лет назад и остаются по сей день неизменными. В срезе луковичного стебля всегда рисуют скрещенные мечи — марку мануфактуры, герб Майссена. Обратите внимание на цвет: таким он будет до обжига. От этого мастера изделия поступают в глазировку и второй обжиг. Первый при температуре около 600°, второй при температуре более 1000°. Краска становится вот такой, — привычным жестом она поднимает над головой и показывает блестящее блюдце с ярким, пронзительно-синим узором, кто-то из женщин удивленно радостно ахает...

Третий зал. Здесь работает высококвалифицированный художник. Из заготовок он собирает статуэтки. Для самоконтроля перед ним стоит готовая фигура. Заготовки сырые, легко поддаются обработке. Мастер пользуется набором специальных инструментов — они разложены на столе: лопатки и палочки, широкие и узкие, тупые и заостренные, деревянные и металлические. Чтобы соединить детали, мастер процарапывает срезы шеи, рук, ног, торса, покрывает их раствором и соединяет друг с другом. Швы заглаживаются...

Фигура, которую делает сейчас мастер, и образец, который стоит перед ним, разработал замечательный немецкий художник Иоган Кэндлер. До 1755 года он был главным художником мануфактуры.

Еще один зал: роспись по глазури.

— Сюда изделия попадают после второго обжига. В распоряжении художницы богатая палитра красок. Здесь расписыва-

ют посуду и статуэтки. Мастер ничем не связан: цветовая гамма, сам рисунок — все зависит от фантазии художника...

Я смотрю на милостливую, чуть улыбающуюся словно бы от смущения женщину — видимо, она не привыкла еще работать под взглядами любопытных глаз. Но дело свое делает: тщательно, неторопливо вырисовывает лепестки алой розы на молочно-белом кофейнике. Ей двадцать семь лет. Она окончила художественную школу при мануфактуре — есть такая школа, готовит собственных специалистов всех профессий...

В заключение осматриваем во дворе разрез печи для обжига фарфоровых изделий. Экскурсия окончена. Пора ехать дальше.

ПОТСДАМ

Емкое это слово — Потсдам.

Впервые город упоминается в 993 году в дарственной грамоте германского императора Оттона III — на месте Потсдама, правда, тогда стоял еще не город, а три небольших поселка: один немецкий и два славянских. В 1526 году курфюрст Бранденбургский Иоахим I построил здесь, у переправы через Хафель, мощный замок, а ровно через десять лет пожар спалил Потсдам до тла. Но место, здесь было очень удобное, и люди его снова заселили: в XVIII веке здесь жило 11 тысяч горожан и стояло гарнизоном 8—9 тысяч солдат. Прусский король Фридрих II, с именем которого часто связывают Потсдам, превратил его в свою загородную резиденцию, и очень скоро этот берлинский пригород с его дворцами и виллами аристократической знати проникся тем духом почитания военного мундира, капральской палки и генеральского эполета, тем духом муштры, казармы и преклонения перед властью, который мы называем «пруссаческим». Но именно Потсдам стал в 1945 году символом обновления Германии, которая рассматривалась как единое целое, символом новой жизни, новой политики, новых надежд для многих миллионов в самой Германии и за ее пределами.

Потсдам — это политическая концепция и целая историческая эпоха в послевоенном развитии Европы.

Потсдам — это клеймо народного проклятия на фашистских убийцах.

Потсдам — это надежда навсегда искоренить источник войны на немецкой земле.

Лично же для меня Потсдам — это три года

жизни, это первые офицерские погоны и подчас ох какое нелегкое взросление.

Четверть века назад, когда я впервые попал в Потсдам, это был тихий зеленый городок с совершенно разрушенным центром — американцы разбомбили его, когда советские войска сходу проскочили Бабельсберг, левобережный район Потсдама, и готовились к переправе через Хафель.

Оборона у немцев здесь была не ахти какая, помощи американцев вовсе не требовалось, да их никто и не просил бомбить Потсдам, тем более его исторический центр с городским дворцом, созданным в конце XVII века, с его музеями и усыпальницами.

В июне-июле 1945 года ездить через этот район было весьма неприятно: кругом громоздились неизвестно как необвалившиеся многоэтажные стены с пустыми оконными проемами, горы разбитого кирпича.

А во дворец Цецилиенхоф в эти же июльские дни шла конференция — та самая знаменитая Потсдамская конференция, и мы всерьез рассчитывали, что по ее окончании вернемся домой, и не знали тогда, что многим из нас предстоит прожить на немецкой земле не один год.

Потсдамские соглашения...

«Оккупация Германии преследует цель... полного разоружения и демилитаризации».

Потсдамские соглашения запрещают пропаганду фашистской идеологии, расизма, вражды к соседним государствам.

В ГДР, социалистическом государстве немецких рабочих и крестьян, это положение полностью выполнено.

В ФРГ пропаганда реваншизма была в свое время возведена в ранг государственной политики. Издавались сотни, тысячи книг «о походе на Восток», ношение фашистских наград было разрешено, недобитых гитлеровских вояк наперебой приглашали в казармы Бундесвера для «воспитательных бесед» с новобранцами...

Вот два высказывания германских политических деятелей о Потсдамских соглашениях:

Вальтер Ульбрихт, Председатель Государственного совета ГДР:

«Теперь совершенно ясно, что если бы Потсдамские соглашения были полностью осуществлены во всей Германии, то в Европе не существовало бы сегодня угрозы войны и проблемы сохранения мира в Европе».

Конрад Аденауэр, бывший канцлер ФРГ: «Бисмарк говорил о тяготевшем над ним кошмаре коалиции против Германии. У

меня тоже есть свой кошмар: название ему — Потсдам».

Имя товарища Бенито Вагацки широко известно в ГДР. У этого бывшего ткача, затем студента, журналиста, писателя, ныне дважды лауреата Национальной премии, тоже есть свое мнение о Потсдамских соглашениях: «В 1945 году, когда в Потсдаме в ходе 13 пленарных заседаний обсуждались Потсдамские соглашения, я еще бегал в деревенскую школу, в которой три класса занимались в одной комнате одновременно. И мы тогда что-то слышали о Потсдамских соглашениях. Через пять лет я ощутил на себе их воздействие. Мы прибыли в Потсдам, на рабоче-крестьянский факультет, начали снова с дробей и в конце концов приняли собственными руками строить нашу мирную республику».

Да, емкое это слово — Потсдам!

...В свое время я исколесил этот город на велосипеде и мотоцикле, как говорится, вдоль и поперек, и потому самонадеянно полагал, что уж где-где, а здесь всегда ориентируюсь.

Но вот с Берлинской кольцевой автострады, повинувшись указателю, мы съехали на боковую дорогу, вот дорога, справа и слева сплошь засаженная густым лесом, перешла в улицу, вот потянулись новые жилые корпуса, вот разбежались поперечные улицы — я понимаю, что мы въезжаем в Потсдам с запада, но никак не могу сообразить, куда, в какой район мы попали. Но вот наконец мост, берег Хафеля — узнал! Только все не то, все не так, как было раньше: разрушенный дворец весь в лесах, руины вокруг него разобраны, у самого берега возносится ввысь многоэтажная гостиница Интуриста — переезжаем по мосту на ту сторону, Ганс сворачивает вправо, и хотя улицы снова неузнаваемо изменились, теперь-то я знаю: мы едем в гостиницу «Цецилиенхоф». Да, мы будем жить в той самой гостинице, где проходила Потсдамская конференция, мы увидим жилые комнаты делегаций и залы пленарных заседаний.

В гостинице «Цецилиенхоф» мы проводим сутки.

Гостиница скромная — нет никеля и пластика, нет мозаичных панно и скоростных лифтов. Строили этот дворец в 1913—1916 годах для наследного принца Вильгельма, обошелся он в восемь миллионов золотых марок — а ведь мировая война была уже в самом разгаре, и все тяготы этой бойни — голод, нищета, болезни — ложились на простой люд. После революции 1918 го-

да, когда император Вильгельм II бежал в Голландию, дворец «Цecilienhof» стал собственностью государства, но в 1926 году его вернули роду Гогенцоллернов, и до марта 1945 года в нем жила семья Вильгельма Гогенцоллерна, последнего принца из этого рода.

И именно здесь, в этом гнезде прусского национализма и милитаризма, прошла конференция, целью которой было заложить основы новой, демократической и антифашистской Германии.

Окно моего номера выходит во внутренний двор квадратного двухэтажного корпуса. В центре двора — круглая зеленая клумба. Слева от меня, перед клумбой, трехэтажный встроенный в корпус дом, фасад его зарос диким виноградом. Все здесь выглядит так, как было в дни конференции. В таком же виде сохранены и внутренние помещения этой части дворца.

Рабочая комната советской делегации, скромно обставленная, вдоль одной стены — застекленный книжный шкаф, пол заставлен огромным ковром. В углу письменный стол, в меру скромный и в меру солидный. Дитер — он водит нас по музею, а я читаю по-русски пояснительный текст, который он мне вручил, — уважительным тоном сообщает, что за этим столом работал Сталин.

Еще комната — стены и потолок обшиты дубовыми панелями. Здесь работала американская делегация.

Третья комната — в ней лоджия, застекленные стены выходят в парк. Здесь размещалась делегация Великобритании.

Конференц-зал — высокий, со сводчатым потолком, стены обшиты деревянными панелями, на стенах укреплены маленькие флажки государств-участников антигитлеровской коалиции. Посредине зала круглый стол, кресла — три повыше, для глав делегаций, остальные пониже. В центре стола еще флажки — советский, английский, американский. Вдоль одной из торцовых стен — лестница на второй этаж, здесь находились журналисты, среди которых был тогда весьма молодой Джон Кеннеди. Вот в этом зале, за этим столом ее и подписали — Потсдамскую декларацию, определившую на десятилетия вперед судьбу Европы... На стене большая фотография — главы делегаций после подписания. Оглядываясь на Дитера — он сосредоточен, таким я его еще не видел. И не торопит, хотя в соседней комнате слышна английская речь — ждет своей очереди, что-

бы пройти в конференц-зал, очередная группа туристов.

Да, Потсдам — емкое слово.

БЕРЛИН

Впервые я попал в Берлин в летние дни 1945 года. Город медленно приходил в себя после ожесточенных боев: повсюду громоздились развалины или остоны домов, груды битого кирпича, перекареженные швеллеры. Город не был еще разделен на секторы, союзники еще не вступили в западную часть Берлина. Население после двух недель ожесточенных боев все еще настороженно поглядывало на советских солдат и все же выстраивалось длинными очередями к русским полковым кухням...

Через два года город уже был разделен на четыре сектора — советский, английский, французский и американский. Правда, секторальные границы существовали лишь на карте, внутри города передвижение было совершенно свободным, городское хозяйство функционировало как единый организм, но политический климат в Восточном и Западном Берлине был совершенно различным.

Летом 1948 года западные державы с помощью сепаратной денежной реформы раскололи Германию и Берлин. Немецкая экономическая комиссия была вынуждена принимать контрмеры, чтобы пресечь поток старых, необменных союзниками марок из Западного Берлина в Восточный: пришлось в Восточной Германии тоже вводить новые денежные знаки. И сразу же американцы повели ожесточенное наступление на валюту Восточной Германии, стремясь дискредитировать ее, породить недоверие к ней у населения. В какой-то мере им это удалось: определенная часть населения поддалась на провокацию, бросилась в Западный Берлин обменивать восточные марки на западные, и это позволило финансовым воротилам Западного Берлина и Западной Германии, используя наплыв восточных марок, установить их отношение к западным, как 9:1. (К 1961 году это отношение было 4:1). Этот спекулятивный курс позволял западным финансовым магнатам и промышленникам наживаться на рабочих и крестьянах Восточной Германии. Дело в том, что государственные цены на продукты питания и товары в Восточном и Западном Берлине оставались примерно одинаковыми, но

разница валют делала продукты Восточной Германии в несколько раз дешевле западноберлинских. И сотни, тысячи спекулянтов разных калибров ежедневно закупали продукты и товары в Восточном и перепродавали их в Западном Берлине, наживая баснословные барыши. Правительство ГДР было вынуждено ввести положение, когда при покупке товаров необходимо было предъявить паспорт гражданина ГДР, а при его отсутствии платить ту же цену западными марками. Был введен и таможенный досмотр на границе между Восточным и Западным Берлином, но эти меры срабатывали лишь частично: в Восточном Берлине всегда хватало «тетушек», закупувших со своими паспортами продукты для «племянников», живущих в Западном Берлине, а таможенники не в состоянии были проверить многочисленные потоки берлинцев, ездивших в течение дня из сектора в сектор.

В одном из номеров журнала «Цайт им Бильд» за 1957 год был опубликован снимок одного из таких спекулянтов, некоего Отто Гроссе, арестованного Народной полицией. Шуплый невысокий человечек с бледным невыразительным лицом снят рядом со столом, заваленным штабелями денежных купюр разного достоинства. Сумма «оборотного капитала», изъятого у этого спекулянта, составила ровно 231 521 марку.

Берлин, в котором без границ соприкасались два враждебных мира, все эти годы жил напряженной жизнью «фронтового города», как называли его западные политики, население же вынуждено было терпеть все тяготы развязанной на Западе «холодной войны». Граница внутри города не знала спокойных дней. Трудно представить себе все изощренные формы идеологической борьбы, которую вели против социалистического строя в ГДР западные власти. Возьмем, к примеру, историю хирурга из западно-германского города Кёльна, доктора Оттмара Колера, поднятого в те годы на щит и даже награжденного тогдашним канцлером ФРГ Аденауэром «Большим крестом за заслуги». За какие же заслуги?

В 1943 году Колер, тогда штабс-арцт, т. е. капитан медицинской службы гитлеровского вермахта, попал в плен под Сталинградом. Он вернулся на родину в 1949 году, и некий Хайнц Конзалик, бывший борзописец из ведомства Геббельса, по рассказам Колера, написал книгу под названием «Врач из Сталинграда». Трудно

сказать, что в этой книге от Конзалика, что — от Колера (там он выведен под именем Болера). Скажем, надо оперировать пленного немецкого солдата. «...Болер ударил себя кулаком по лбу и воскликнул: «Но чем, Шультхайсс, чем? У нас нет даже вшивого скальпеля!» Или: «Дьявольщина, нечем же зашивать, нет ни кетгута, ни шелка!» В другом месте говорится об ампутации конечностей у немецких военнопленных — на открытом воздухе, на снегу, двуручной пилой, а вместо наркоза «два дюжих санитаря». И даже о ранах, зашитых Колером-Болером за неимением чего-либо другого... сапожной драткой! По этому, с позволения сказать, «роману» в Западной Германии был снят антисоветский фильм, который затем доставили в Западный Берлин, и для граждан ГДР была установлена льгота: по предъявлении паспорта его можно было смотреть бесплатно.

Империалистические разведки США, Великобритании, ФРГ и иных стран НАТО, всевозможные эмигрантские, реваншистские организации, так называемые «Восточные бюро» западно-германских политических партий, окопавшиеся в Западном Берлине, использовали его как трамплин для всякого рода подрывной деятельности против ГДР, Советского Союза и других стран социалистического лагеря. Невозможно представить себе, сколько сил, средств, энергии положили эти организации — всякие «Группы борьбы против бесчеловечности», «Комитеты свободных юристов» и прочие, на развал социалистического строя в ГДР, сколько проявлено ими изощренной выдумки, сколько грязи и клеветы вылиты на народный строй, сколько загублено человеческих жизней!

Вот история некоего Готтфрида Штрюмпе, рассказанная в свое время на страницах того же журнала «Цайт им Бильд».

Служил добровольно в гитлеровском вермахте, трижды ранен. После войны работал шофером в больнице города Баутцен. Занимался воровством — после ареста у него нашли огромное количество запчастей, инструментов, цветного металла. Но это был не просто уголовник: из горьких уроков войны он не сделал никаких выводов, он ненавидел народную власть в ГДР и он знал, что в Западном Берлине, куда он мог сбежать в любой момент, его примут с распростертыми объятиями. РИАС (сокращенное название Радиостанции в американском секторе) создала даже специальный лагерь для «восточных бежен-

цев», как называли людей этого сорта. Та же РИАС призывала этих людей «действовать», и Штрюмпе «действовал». 28 поджогов, крупных и мелких, жилых домов, детских яслей и промышленных объектов учинил Штрюмпе, пока удалось его разоблачить и схватить!

Вот дела посерьезней.

Ежи Шепански был завербован американской разведкой в Мангейме, ФРГ, после подготовки переброшен в Западный Берлин. Задание: имея при себе надувную резиновую лодку, подложные документы — немецкий и польский — выехать из Западного Берлина на мотоцикле в город Коттбус на территории ГДР, мотоцикл бросить и с помощью лодки перебраться через Одер в Польскую Народную Республику для сбора шпионских сведений. Задержан на границе между ГДР и Польшей.

Бенедикт Шумински закончил школу американской разведки в Оберуруле, Бавария, переброшен в Западный Берлин с заданием: используя непромокаемый костюм, перебраться через Одер в Польшу в город Торунь, создать там подпольную группу. Кроме того, крупной суммой долларов подкупить какого-нибудь офицера ВВС, чтобы тот перелетел в Западный Берлин или Ганновер на реактивном истребителе. Задержан пограничниками ГДР.

В 1953 году американская и английская разведывательные службы совместно разрабатывали и провели операцию под кодовым названием «Голд» («Золото»). По договоренности между американским ЦРУ и английской «Интеллидженс сервис», американцы выделили денежные средства, англичане поставили сложнейшее техническое оборудование. Неподдалеку от Шенфельдского шоссе, рядом с границей Демократического Берлина, американские военные власти построили станцию подслушивания, откуда был прорыт туннель длиной 600 метров. В туннеле смонтировали аппаратуру для подслушивания, усиления и звукозаписи. Аппаратура была подключена к линии связи Советской группы войск и советской контрольной комиссии. Официально этот шпионский туннель был обнаружен нашими связистами через два с лишним года, 22 апреля 1956 года. Последовали ноты протеста западным державам. ЦРУ, делая хорошую мину при плохой игре, заявило, что эта операция, обошедшаяся в копейчку, является «самой результативной после второй мировой войны». Действительно, западные разведки собрали через этот туннель такое количество «информа-

ции», что для обработки ее пришлось создавать особый — и весьма многочисленный — аппарат.

Сейчас мы знаем, что операция «Голд» была обречена на провал еще в тот самый день в декабре 1953 года, когда представители ЦРУ и «Интеллидженс сервис» собрались в Лондоне для обсуждения плана операции. Дело в том, что английскую сторону на совещании представлял заместитель начальника Отдела технических операций Джордж Блейк. Товарищ Джордж Блейк был советским разведчиком, работавшим в английской «Интеллидженс сервис»...

Конец враждебным проискам с территории Западного Берлина наступил в ночь с 12 на 13 августа 1961 года. Правительство ГДР по предложению Правительств стран Варшавского договора, опираясь на единство своего народа, на его твердую волю к миру и спокойствию, на силу Национальной народной армии и рабочих боевых дружин, установило вокруг Западного Берлина государственную границу. И молодые немцы встали на западных рубежах мирового лагеря социализма с твердой верой в то, что социализм есть та именно единственная форма жизни, ради которой стоит жить, бороться и — если надо — умереть. Их лозунгом было: «Учиться у Советского Союза — значит учиться побеждать». Мне кажется, что рождение этого нового поколения немецкого народа есть самый важный итог разгрома фашизма.

В Западном Берлине не сразу смирились с государственной границей. Против молодых ребят, охранявших ее, посыпались провокации одна за другой. Западно-Берлинский сенат разрешил своим полицейским вести огонь по границе с ГДР «по собственному усмотрению». С 1961 года по 1968 год — 600 выстрелов. 17 пограничников — здесь, в Берлине, и на границе с ФРГ — убито. Но граница с Западным Берлином, которую наши немецкие товарищи называют антифашистским защитным валом, стоит непоколебимо. Она показала западным державам и тогдашним правительствам ФРГ, где кончается граница их власти. Здесь, за Бранденбургскими воротами, живет и трудится социалистический Берлин.

...Мы прожили в этом новом Берлине двое суматошных, до краев наполненных суток, которые для меня лично были связаны еще и с радостью узнавания: вот они, Бранденбургские ворота — какие они стали! Вот она, замечательная Александер-

плац, — трамвай с площади убрали, для пешеходов — туннели, развалин разбомбленных зданий нет, кругом многоэтажные громады из бетона и стекла; над площадью плывет телевизионная башня с огромным серебристым шаром в немыслимой высоте, а размером тот шар с девятиэтажный дом; вот здесь стоял памятник Вильгельму I, и я когда-то фотографировался у этого памятника...

На Унтер ден Линден по сохранившимся старым чертежам отстроены здания Оперного театра и Университета имени Гумбольдта. Когда здесь первой послевоенной осенью начались занятия, студенты принесли с собой листы картона — заделывать окна на время лекций, чтобы ветер не мешал записывать: стекол в университетском здании не было...

Англо-американская авиация, беспощадно бомбившая Берлин во время войны, наносила рассчитанные удары по жилым кварталам, не трогая промышленные объекты, связанные с американским капиталом — такие, как заводы АЭГ, Сименс и Гальске. Подвергся разгрому и так называемый «Остров музеев»; 3 февраля 1945 года союзники сбросили на сокровищницы мировой культуры 28 зажигательных и фугасных бомб крупного калибра. Лишь много лет спустя, в мае 1970 года, рабочие добрались до последних руин. Из-под развалин были извлечены произведения искусства древнего Египта — разумеется, то, что уцелело. Остальные музеи на острове восстановлены, и в двух из них нам удалось побывать.

Наверно, это ощущение ни с чем несравнимо — ходить по улице, сооруженной две с половиной тысячи лет назад. На Острове музеев есть такая улица — «Улица процессов». Она была создана в древнем Вавилоне в VI веке до нашей эры по повелению царя Навуходоносора II. В прошлом столетии немецкие ученые и археологи, производившие раскопки на территории, где в древности стоял Вавилон, извлекли из-под земли эти великолепные стены, украшенные глазурными плитками с многоцветными орнаментами и рельефными фигурами животных, и перевезли их в Берлин. Еще большее впечатление производит грандиозный Пергамский алтарь, созданный в Пергамском царстве при царе Евмении II более двух тысяч лет назад. Извлеченный из-под земли немецкими археологами в 1878—1886 годах, он был установлен на Острове музеев в специальном громадном зале со стеклянным потолком. И, глядя на эту

стройную колоннаду, на фриз, украшенный рельефной картиной «Битва богов с титанами», проникаешься постепенно чувством уважения к тем мастерам, которые две тысячи лет назад были способны сотворить такое...

Берлин — первый город на немецкой земле, в котором были применены социалистические принципы градостроительства. В качестве первоочередных объектов для восстановления были избраны Александерплац, Унтер ден Линден и Франкфуртер Аллея. Но когда для всеобщего обозрения были выставлены проекты и макеты будущего социалистического Берлина, многие, очень многие берлинцы с сомнением покачивали головами: да, да, конечно, это все очень красиво, это здорово придумано, но вы посмотрите вокруг — сколько развалин, сколько руин, и как трудна жизнь... На сколько десятилетий рассчитана эта программа? Сегодня социалистический Берлин поражает приезжих грандиозным размахом строительства, масштабами сделанного, четкостью ансамблей улиц и площадей. Сами же берлинцы, гордясь в душе творением своих рук, говорят: «Ну и что? Поработали в берлинском темпе...»

Восстановлены и наиболее выдающиеся архитектурные памятники прошлого: здание караула городской комендатуры, сооруженное в 1818 году знаменитым архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем, введенный им же в 1824—1828 годах Старый музей. Кстати, здание караула ныне получило новое назначение: оно посвящено памяти жертв фашизма и милитаризма, каждую среду здесь происходит торжественная смена караула...

22 апреля 1970 года, в день столетия со дня рождения Ленина, тысячи берлинцев собрались на площади имени Ленина, перед памятником Ильичу, чтобы отметить успех строителей: в этот день был сдан жилой комплекс на площади из 1138 квартир. Да, далеко ушел сегодняшний Берлин от невообразимых руин 1945 года, оставленных после себя погибшим фашизмом. И в сегодняшнем Берлине не устают повторять, что все успехи Демократической Германии оказались возможны только благодаря помощи советских людей — помощи всесторонней и бескорыстной.

...Выкроив время, я прошелся по Фридрихштрассе. Дошел до КПП — до пункта перехода в Западный Берлин. Постоял, посмотрел. Идут туда и обратно люди, время от времени проходят машины. Идут люди в штатском и в униформе западных ар-

мий: предъявляют пограничникам ГДР документы, открывают багажники... Все мирно, буднично-спокойно.

У Бранденбургских ворот, по ту сторону шлагбаума, стоит молодой солдат в зеленой рубашке, галифе и сапогах, на фуражке эмблема ГДР, за спиной на ремне автомат. Стоит спокойно, с независимым видом поглядывая на толпы туристов по эту сторону шлагбаума. Этот парень родился уже в социалистической Германии, он другой и не знает... Жаль только, что он на посту, поговорить с ним нельзя...

Вечером — калейдоскопически яркий концерт в варьете «Фридрихштадтпаласт» — темп представления головокружительный, никаких конференсье (программа у каждого на руках), никаких хождений по огромной сцене: один номер закончен — прожектор выхватывает с другой стороны или откуда-то сверху следующего артиста; танцы, песни, балет, — артисты немецкие и зарубежные, временами включается фонтан, и перед сценой возникает сверкающий радужными переливами, колыхающийся водяной полог.

Следующим днем — посещение знаменитого мемориала в Трептов-парке, где я бывал много раз: в те годы было заведено в день Победы возлагать венки у подножия кургана, к постаменту воина-освободителя со спасенной девочкой на руках. В те годы мемориал охраняли сначала наши солдаты, потом немецкие комсомолцы. Сейчас, с установлением границы, необходимость в охране памятника отпала.

Мы медленно поднимаемся на курган — в склепе внутри постаментов полно венков. Укладываем и мы свой — тишина вокруг, только деревья чуть слышно шелестят листьями, и мы знаем, что увезем с собой, в далекий Кузбасс, эту торжественную, звенящую тишину, увезем память о тех десятках тысяч, что сложили здесь свои головы за то, чтобы мы жили спокойно, что-

бы Берлин из фашистского логова превратился в социалистический.

...И вот он — последний день.

Только что ушел состав Берлин—Будапешт—Вена, на освободившийся путь подает поезд Берлин—Москва. Вещи уже уложены, а до отхода еще минут десять. С Гансом простились внизу, на привокзальной площади, Дитер с нами на перроне. Все, что говорится в таких случаях, уже сказано, а Дитер все не уходит... Потом еще минут пять стоим в вагоне у окна, а он — напротив на перроне, перебрасываемся ничего не значащими фразами. Наконец, трогаемся — Дитер идет рядом с вагоном, потом срывается на бег, улыбается как-то виновато, машет рукой — все, отстал. Состав вырывается из-под стеклянных сводов, ветер упруго бьет в открытое окно...

Путешествие по ГДР окончено. Теперь — домой!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, я не смог описать всего, что мы видели за две недели в ГДР, и цели такой перед собой не ставил. Выпали такие города, как великолепный Веймар, Лейпциг с его революционными традициями, овеянный тысячелетними легендами Вартбург, Бухенвальд, живописный Эрфурт, выпал центр Мансфельдского бассейна город Айслебен с его памятником Ленину, спасенным рабочими от переплавки. Выпал неповторимый собор в Наумбурге с его скульптурами и рельефами, созданными неизвестным гениальным мастером в XIII веке — сюда, в Наумбург, Дитер и Ганс завезли нас сверх туристической программы, просто из чувства дружбы. В этих заметках то, что больше всего тронуло, что глубже всего запечатлелось. И мне просто хотелось рассказать о том, какой она стала теперь — Германская Демократическая Республика.

ПИСАТЕЛЬ-РЕВОЛЮЦИОНЕР

Издательство «Молодая Гвардия» выпустило книгу Эм. Виленской «Худяков». Книга эта воскрешает из забвения славный образ сибиряка, революционера, ученого и писателя.

Иван Александрович Худяков родился 1 января 1842 года в Кургане. Учился в Ишиме и Тобольске. Затем поступил в Казанский университет, оттуда через год перешел в Московский университет. Уже с первых студенческих лет И. А. Худяков занимается собиранием устного народного творчества, выпускает сборники великорусских народных песен, сказок, загадок. Одновременно пишет рассказы, составляет самоучитель для желающих обучаться грамоте.

Активное участие в революционной деятельности для Худякова началось с 1865 года в ишутинском кружке и со встреч с Д. В. Каракозовым. Как известно, участники кружка Н. А. Ишутина в борьбе с самодержавием избрали террор. В книге Э. Виленской довольно полно изложены история и деятельность ишутинского кружка, подробно описано покушение Каракозова на жизнь царя Александра II. По архивным материалам и автобиографическим запискам автору удалось показать прямое участие И. А. Худякова в заговорщической деятельности кружка ишутинцев.

И. А. Худяков в книге Э. Виленской предстает как революционер, сочетающий пропагандистскую работу с тактикой заговорщика, как замечательная личность, олицетворяющая собою все честное и свободное, борющееся и негибаемое, что было в России 60—70-х годов прошлого столетия. В книге хорошо показаны эволюция взглядов самого Худякова, многих кружковцев-ишутинцев, их путь к террористической деятельности, глубоко проанализирована деятельность И. А. Худякова как ученого-фольклориста и писателя, особенно в ранний период творчества.

Вторично в Сибирь И. А. Худяков попал уже как политический ссыльный. Ранним утром 4 октября 1866 года его вместе с 31 обвиняемым в каракозовском деле привез-

ли к Смоленскому полю из Петропавловской крепости на место казни Ишутина. После «свершения гражданской казни над всеми ишутинцами и прочтения «царского помилования» самому Ишутину И. А. Худякова с товарищами прямо с места казни повезли на Московскую железную дорогу и отправили в дальний путь. Из Нижнего до Тобольска везли на почтовых лошадях двумя партиями в сопровождении офицера и жандармов. От Тобольска ехали с общими арестантскими партиями. В Тобольске у Худякова были родственники и знакомые, но свидания с ним не разрешали. По дороге из Тобольска И. А. Худяков тяжело заболел и его оставили в Нижнеудинске в больнице. Едва встав на ноги, он отправился в Иркутск, где еще застал своих товарищей и через день распрощался с ними навсегда.

Еще до прибытия Худякова в Иркутск из третьего отделения пришло распоряжение генерал-губернатору Восточной Сибири «...назначить Худякову одно из таких самых отдаленных мест Сибири, с которого бы он не мог ни под каким предлогом скрыться, и с тем, чтобы Худяков оставался под строгим наблюдением и без разрешения... никогда и никуда не отлучался с назначенного ему места жительства». Таким местом был назначен Верхоянск, при этом Якутскому губернатору приписывалось сдать Худякова в Верхоянске «под личную ответственность земского исправника или особого надежного лица, а вместе с тем иметь и со своей стороны постоянное бдительное и строгое наблюдение... и сообщать ежемесячно о его поведении сведения».

В Верхоянск Худяков был доставлен 7 апреля 1867 года. Здесь его поселили в юрте многосемейного якута, где за перегородкой содержался и скот. В верхоянской ссылке И. А. Худяков жил в большой нужде. В пособии, полагавшемся ссыльным, Худякову было отказано. С раздирающим душу отчаянием он писал, что приходилось «жить вместе с телятами, по целым неделям голодать, при невозможности

сти работать что-нибудь дельное, среди общества самых пошлых ябедников, среди людей, которых все мысли и поступки возмущают душу; не иметь более года никакого известия от самых дорогих и близких людей, ждать их по целым месяцам и снова ничего не получать, наконец, видеть ужасные бедствия родной страны...». За весь 1867 год И. А. Худяков получил от родных и знакомых 99 рублей — сумму ничтожную, позволявшую только не умереть с голода.

Деятельная натура Худякова не могла мириться с вынужденным бездельем и оторванностью от мира. Он сразу же принялся за разнообразные занятия, чтобы заполнить свой досуг и принести пользу народу. И. А. Худяков стал изучать якутский язык, приступил к составлению якутско-русского и русско-якутского словаря, начал изучать якутский и местный русский фольклор. Кроме того, начал писать воспоминания.

Постоянная нужда, бытовая неустойчивость, безвыходность положения накладывали отпечаток на психику Худякова и в конце концов привели к неизлечимой душевной болезни. Уже через год шпион-осведомитель доносил, что Худяков «сделался очень печален, постоянно ищет уединения... Прежняя надежда на скорое осуществление задуманных планов далеко в нем ослабла, хотя нельзя сказать, что совершенно утасла... Сведений о ходе в настоящее время политических событий со дня пребывания в Верхоянске имеет очень мало, так как в городе получают только «Биржевые ведомости» и «Северную почту», но он, считая эти газеты правительственными органами, почти в них не заглядывает».

Однако в течение первых трех лет ссылки И. А. Худяков все же много работал. В конце 1867 года он вчерне закончил «Опыт автобиографии», а в 1869 году составил «Верхоянский сборник». Эти произведения были изданы спустя много лет после смерти Худякова. Прежде чем увидеть свет, они прошли поистине легендарный путь и были обнаружены самым необычным образом. О всех перипетиях и судьбе сибирских произведений И. А. Худякова подробно рассказывается в книге Э. Виленской.

В 1868 году по предложению географа и

путешественника Г. Майделя, проезжавшего через Верхоянск, Худяков в течение 14 месяцев ежедневно проводил наблюдения за температурой воздуха, и это позволило академику Вильду вычислить температуру Верхоянска. В это же время И. А. Худяков хлопотал об открытии школы в Верхоянске.

По донесениям верхоянского исправника легкое умопомешательство у Худякова было замечено в начале 1871 года. С января того же года ему было назначено казенное пособие по 9 рублей в месяц, позже оно было увеличено до 10—12 рублей. Известный о состоянии Худякова генерал-губернатор заподозрил симуляцию. На просьбу матери о разрешении ему перевода в Иркутскую или Томскую губернию и возможность проживания с ним был получен отказ. А между тем из Верхоянска из месяца в месяц сообщалось об ухудшении здоровья И. А. Худякова. И только в августе 1874 года из III отделения было получено разрешение на перевод его в Якутск. В Якутской больнице не было ни отделения для душевнобольных, ни врача-психиатра, и Худяков оставался без надлежащей помощи. Только в июне 1875 года, благодаря хлопотам матери, он был переведен в Иркутск в отделение для душевнобольных.

Немногим более года пробыл Худяков в иркутской больнице. 19 сентября 1876 года он умер. Родственникам не позволили хоронить И. А. Худякова. И даже в последний путь его сопровождал конвой. Погребли Худякова в одной могиле с двумя бродягами.

До революции имя Худякова не допускалось в печать. Оно упоминалось лишь в нелегальной и эмигрантской литературе. Впервые с жизнью и деятельностью Ивана Александровича Худякова познакомил широкую читательскую массу в 1829 году историк М. М. Клевенский. Но книжка его давно разошлась и о Худякове говорили лишь историки и литературоведы. Теперь более подробно с жизнью, революционной и литературной деятельностью, а также с трагической судьбой его познакомил нас Э. Виленская. Книга ее — наиболее полное повествование, построенное на подлинных фактах и исторических материалах.

На какой я должности?



Перешел я на другое место работы. Друзья встречаются, спрашивают о моей новой должности. Я им большой палец показываю: вот, мол, моя должность, на все сто! А сам молчу. Потому молчу, что не знаю, кем я числюсь.

Ну, друзья — ладно, бог с ними. Жена стала ныть: «Как так, работаешь и не знаешь кем? Тебя, поди, обжуливают на все сто!».

— Это ты брось, — небрежно сказал я. — А если тебе так хочется, узнаю.

Прихожу назавтра к начальнику Григорию Ивановичу. Так и так говорю, жена моя очень желает знать, на какой я должности состою.

Григорий Иванович задумчиво побарабанил по столу пальцами.

— Разберемся сейчас, Петренко. Ты присаживайся.

Начальник поковырялся в бумажках.

— Значит, хочешь знать, кем ты числишься? Пожалуйста, вот... Нам, понимаешь, нужен был оператор. Мы взяли тебя. Но оператор не положен по штату. Мы тебя раз — и оформили как инженера. Но так как инженер у нас есть, а зарплаты нету, мы выплачиваем тебе зарплату электрика.

— А где же электрик-то? — поинтересовался я.

— Кроме того, — словно не расслышав вопроса, продолжал Григорий Иванович, —

мы держим курьера. Курьер же не положен нам...

— Курьер... он тоже инженер-электрик? — опять вставил я.

Начальник не обиделся, улыбнулся слегка:

— Вовсе нет. Курьер получает зарплату третьего помощника заведующего отделом по металлу.

— А этот самый третий...

— А третий переведен как мастер. Нет, как... да-да, мастер.

— А зарплату получает как кто?

— Зарплату он получает... — Григорий Иванович порывлся в папках, — как инженер по трудоемким процессам.

— А инженер?..

— Он переведен на должность механика по сельхозмашинам, — Григорий Иванович заторопился, боясь, наверно, что я перебую, — механик по сельхозмашинам проведен как заведующий красным уголком, а последний — как работник столовой...

— А зарплату? — успел вставить я.

— Зарплату получает инженера-конструктора. Только — стоп! Кто же еще получает эту зарплату?.. Петр Петрович! — В дверь заглянул работник бухгалтерии. — Кто у нас получает зарплату инженера-конструктора?

Петр Петрович поскреб небритую бороду.

— Одну часть выплачиваем технику по санузлу и дворнику, а вторую, кажись...

— Ступай, ступай!

Григорий Иванович потер лоб, проглотил таблетку и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза.

— По какой же они должности проведены? — нарушил я затянувшееся молчание.

— Кто?

— Техник по санузлу и дворник?

Григорий Иванович медленно поднял веки, долго смотрел на меня, как на новую

луну. Взгляд его туманился. Я поерзал на жестком стуле, поднялся и нерешительно направился к двери. Но вспомнив про жену, остановился.

— Я-то кто, а? — прокричал я тоскливо. В кабинете стояла потрясающая тишина.

— Ступай, Петренко, — наконец устало и грустно изрек Григорий Иванович... — Ступай с богом, я тут бумажки кой-какие полистаю. Через недельку заглянешь.

Я тихонько прикрыл дверь с обратной стороны.

В. Курнов

«Ш а й б у»!

Соревнование токарей вступило в завершающую фазу. Мастерские гудели станками и болельщиками.

Соревнование есть соревнование. Болельщики есть болельщики. Один из них не утерпел и закричал как на стадионе:

— Шайбу!..

Не к месту произнесенный возглас подхватили другие, и вскоре все стоявшие вдоль стен мастерских дружно скандировали:

— Шай-бу!.. Шай-бу!.. Шай-бу!..

И вдруг будто обрезало. Уроженец

здешнего города молодой токарь Сенечкин выключил станок и поднял руку с блестящей деталью. Главный судья дед Фордзон, родоначальник местных механизаторов, взял детальку, покрутил перед крупным своим носом и гаркнул:

— Мазила!..

Сенечкин сделался печальным и мягким. Он считался непревзойденным токарных дел асом. Но был застенчивым, до удивительного исполнительным парнем. И выточил шайбу...

А надо было гайку.



Цена 30 коп.

Кемерово 1971 г.